

A man with a full black beard and a shaved head is the central focus. He is wearing a black leather motorcycle jacket over a dark blue shirt. He is sitting on a red motorcycle, with his hands on the handlebars. The background is a blurred crowd of people, some wearing helmets, suggesting a public event or rally. The overall tone is gritty and intense.

Механик

Денис Белевцев-Белый

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Денис Белевцев-Белый

Механик

«Автор»

2026

Белевцев-Белый Д.

Механик / Д. Белевцев-Белый — «Автор», 2026

Он чинит машины. Он чинит судьбы. Он — Механик. В 1991 году восемнадцатилетний Фархад совершает угон, чтобы спасти больную сестру. И ломает себе жизнь. Пять лет строгого режима в Воркуте превращают пацана в мужчину с железным характером и уважением братвы. Там он получает кличку Механик — за золотые руки и правильные понятия. На воле его ждёт другая Россия — время бандитских разборок, денег и пуль. Друг зовёт в дело, суля лёгкую жизнь. Но Механик выбирает своё: открывает автосервис. Чинит машины, решает проблемы, помогает людям. Без оружия, без крика, без предательства. Сможет ли он выжить в этом мире, оставаясь собой? И какой ценой? Честная, жёсткая и трогательная история о 90-х, тюрьме, любви и силе духа. P. S. памяти Фархада Шейбова.

© Белевцев-Белый Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1: Фартовый	5
Глава 2: Ночь угона	7
Глава 3: Две недели королей	13
Глава 4: Облом	17
Глава 5: Матёрый	22
Глава 6: Череп сдаётся	28
Глава 7: Очная ставка	29
Глава 8: Следствие	30
Глава 9: Приговор	31
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Механик

Глава 1: Фартовый

Москва, апрель 1991 года. Соколиная Гора.

В тот год весна никак не могла определиться, кто она такая. То ударит солнцем, так что снег сходит за два дня, обнажая прошлогодний мусор, собачье дерьмо и ржавые банки из-под кильки. То снова накинется снег с дождём — и идёшь по улице: хлюпаешь, как по болоту, а ветер дует такой, что кости ломит.

По вечерам из открытых окон на всю Соколиную Гору гремело на разной громкости одно и то же: «Белые розы, белые розы, беззащитны шипы» Кто-то уже открыл дачный сезон, кто-то копал огороды за МКАДом, но большинство просто сидело у телевизоров и с ужасом смотрело новости. По ящику каждый день показывали очереди за сахаром, мылом и спичками. Говорили, что в магазинах скоро вообще ничего не останется. Люди сметали с полок консервы, крупы и тушёнку — по карточкам, по талонам, по блату.

Фархад Шеибов — для пацанов во дворе Фарик, а для тех, кто выламывал язык на восточном «х» — Турок — стоял у раскрытого капота «копейки» во дворе на Соколиной Горе. Руки по локоть в масле, шея затекла так, что повернуть голову — больно. На спине рубаха взмокла, прилипла к лопаткам. Из динамика чьей-то «шестёрки» напротив хрипел «Ласковый май», бабка у подъезда торговала семечками — стакан за рубль, мешочек за три.

Фарику было восемнадцать. В начале апреля исполнилось. Не гуляли — денег не было. Мать, Эльмира Каримовна, испекла пирог с капустой — вот и весь подарок. Сестрёнки нарисовали открытку: Лейла, тринадцатилетняя девочка с чёрными кудряшками, вывела фломастером «Дорогой братик, с днём рождения!»; Сабрина, которой только-только стукнуло восемь, тощая, бледная, с аметистовыми глазами, прилепила на открытку засушенный цветок, который сама нашла прошлым летом.

Сабрина болела. Туберкулёз лёгких в закрытой форме. Врачи в районной поликлинике разводили руками: запущенный, переход в фиброзно-кавернозную форму. Нужны были дорогие лекарства — стрептомицин импортный, изониазид, рифампицин. В аптеке на Семёновской, если по блату, можно было достать флакон за тридцать рублей.

Деньги требовались такие, что у отца, Сабира Алиевича, зарплаты водителя начальника Главка — всего двести двадцать рублей — хватало только на еду и коммуналку. Да и те с задержками. Начальник, которого отец возил на чёрной «Чайке» с тонированными стёклами, стал прижимистый, нервный. Уволил отца. Перестройка, мать её.

Фарик вытер тряпкой пальцы, сунул руку в карман куртки-«аляски», которую носил уже третий год. Дыра на локте, замок сломан, застёгиваешь на булавку. Нашупал смятую пачку «Астры». Прикурил от зажигалки «Zippo», подаренной Черепом на прошлый Новый год. Затянулся. Горький дым обжёг горло.

«Надо что-то делать, — подумал он, глядя в грязное небо. — Иначе Сабрина закашляется насмерть. Мать не спит ночами, слушает, как дочь дышит. Отец без работы»

Из-за угла дома вышел Серёга Черепанов — Череп. Рыжий, конопатый, шире в кости, чем Фарик, но с тонкой шеей и вечно прищуренными глазами. Штаны тренировочные, кеды «Adibas» — китайские, с тремя полосками, которые уже через неделю отклеились, но всё равно понты. Фуфайка на молнии, под ней — тельняшка полосатая. Череп любил понтоваться флотским прошлым, хотя сам в армии не служил — справку дали по зрению. Отца у него не было, жил он с матерью и двумя сёстрами-близняшками в коммуналке.

— Слышь, Фара, — Череп подошёл, закурил «Беломор», сплюнул под ноги. — Ты чего такой смурной? День рождения недавно был, а ты как на похоронах.

— А оно мне, это день рождения? — Фарик сплюнул. — Сабрине опять лекарства нужны. Мать вчера весь вечер смотрела в окно, считала, где взять. Отец без работы. Мне в техникуме за практику не платят, а если и заплатят — копейки.

Череп помолчал, покрутил в пальцах окурок.

— Слушай, Фара. Я тут тачку одну приметил. На автобазе 3 на Кирпичной улице. «Волга» тридцать девятая, чёрная. Резина новая. Движок — зверь. Стоит месяц. Хозяин, вернее начальник, которого на ней возят, на больничном — инфаркт. Охрана — Петрович, он каждую ночь в сторожке квасит до отключки. — Череп понизил голос до шёпота. — Если мы её того. Толкнём в Люблино. Там есть один армянин, Вахтанг, держит разборку. Бабки получим — и делу конец.

Фарик сжал челюсти так, что желваки заходили под скулами. Раньше он об этом думал, прогонял в голове сотни раз, особенно ночами на кухне. Но никогда не говорил вслух. А теперь Череп сказал. И от этого слова стало страшно и в то же время легко — будто скинул с плеч мешок с камнями.

— А если мусора? — спросил он наконец.

— А если твоя сестра завтра не встанет? — в тон ему ответил Череп. — Ты думаешь, мне охота тачку угонять? Мне на флоте хотелось служить. А теперь вместо флота — тачки воровать буду. Потому что выбора нет, Фара. Нет выбора.

Фарик молчал. Долго, очень долго. Смотрел на окна своей квартиры на пятом этаже. В их двухкомнатной хрущёвке родители жили в одной комнате, сёстры — в другой, а он, Фарик, с восьмого класса обитал на кухне. Шесть метров, раскладушка в углу, между плитой и столом, на которой он спал, делал уроки, мечтал о мотоцикле и целовал Настю, когда родителей не было дома.

— В субботу? — спросил он тихо.

— В субботу, — кивнул Череп. — Петрович в субботу всегда пьян в стельку. Жена в гости к матери уезжает, он с горя нажирается. Идеальные условия.

— Лады, — Фарик кивнул. — В субботу.

Они ударили по рукам. Крепко, по-мужски.

Глава 2: Ночь угона

Суббота, 4 мая 1991 года

В тот год майские праздники растянулись на четыре дня — с 1 по 4 мая включительно. Первое мая выпало на среду, и гуляли с размахом, хотя уже не с прежним энтузиазмом. По телевизору показывали демонстрации: колонны трудящихся с портретами Ленина и Горбачёва, но в кадр то и дело попадали люди с плакатами «Долой антинародную программу» и «КПСС — на свалку истории». Ветераны выходили на Красную площадь с орденами на пиджаках и со слезами на глазах — рушилась стена Новгородского кремля, рушилась и страна. Кто-то шёл на митинги, кто-то — на маёвки с шашлыками, а большинство просто сидело по домам, потому что на улице было холодно и сыро.

В пятницу, третьего мая, ещё моросило. Погода стояла неустойчивая — то солнце проглянет, то снова тучи набегут. Но к субботе, четвёртому числу, обещало потеплеть. Фарик знал это, потому что мать слушала прогноз по радио каждое утро.

Ночь выдалась душная, хоть ножом режь. Жара, накопленная за день, к вечеру не спала, а только налилась тяжестью, влажностью. Над Москвой нависли низкие тучи, но дождь так и не пролился — только воздух стоял плотный, как вата, липкий к коже. Пахло бензином, нагретым асфальтом и почему-то сиренью, которая вот-вот должна была зацвести, и запах этот висел в переулках, как призрак приходящего лета.

Фарик не спал. Он лежал на кухне на своей раскладушке, смотрел в потолок с жёлтыми пятнами от протекавшей крыши и слушал, как за стенкой кашляет Сабрина. Этот кашель — сухой, надрывной, с присвистом — вьёлся ему в память. Он уже не замечал его днём, но по ночам, когда всё затихало, каждый выдох сестры отдавался у него в груди. Мать вставала трижды за ночь — он слышал, как она шлёпает босыми ногами в коридор, открывает дверь в комнату сестёр, шепчет что-то успокаивающее.

В половине первого ночи Фарик тихо поднялся. Раскладушка жалобно скрипнула, он замер на секунду, прислушался. В квартире было тихо — отец храпел в своей комнате, мать затихла, Сабрина дышала тяжело, но ровно.

Он оделся в темноте: старые джинсы, вытертые на коленях, тяжёлые армейские ботинки — единственная обувь, в которой можно было бегать по гравию, и куртку-«аляску», в карман которой сунул отмычку, плоскогубцы, изоленгу и фонарик. Фонарик был китайский, дешёвый, но светил ярко.

Череп ждал внизу, у подъезда. В темноте его рыжие волосы казались почти белыми. На нём были тренировочные штаны, кеды «Adidas» с отклеившимися полосками и чёрная фуфайка на молнии. Под фуфайкой — та самая тельняшка, которую он надевал по любому поводу. Череп курил «Беломор» в два затяга, окурок тлел в темноте красной точкой.

— Опаздываешь, — шепнул он, сплёвывая.

— Я на пять минут раньше вышел, — ответил Фарик так же тихо. — Идём.

До автобазы 3 на Кирпичной улице было двадцать минут ходу. Шли пустырями, задами гаражей, чтобы не нарваться на ночной патруль или на случайного прохожего. Луна то вылезала из-за туч, то снова пряталась, и тогда темнота становилась кромешной, хоть глаз выколи. Где-то лаяла собака — глухо, с надрывом, как будто чуяла неладное. Где-то за забором гаражного кооператива ухал филин.

— Слышь, Фарь, — прошептал Череп, когда они остановились перекурить у трансформаторной будки. — А ты не боишься?

— Боюсь, — честно ответил Фарик. — А толку?

— Тоже верно, — Череп глубоко затянулся, выдохнул дым в сырое небо. — Мать моя вчера сказала, что если до июня не найду работу, то пойду дворником в ЖЭК. Дворником,

понимаешь? Я, который на флот хотел, на Балтийский, на эсминец... — Он горько усмехнулся. — Буду снег разгребать лопатой за сто двадцать рублей. А близняшкам в школу надо. Форма по тридцать рублей, туфли по двадцать пять, портфели... И это в мае ещё, а что осенью будет — страшно подумать.

Фарик молчал. Ему нечего было сказать. Его собственный отец, проработавший тридцать лет за рулём, теперь сидел без работы и целыми днями перебирал карбюратор на кухонном столе, потому что делать больше было нечего.

— Ладно, — сказал он наконец. — Хватит ныть. Пошли.

Автобаза 3 тянулась вдоль Кирпичной улицы на полкилометра — бетонный забор с колючей проволокой поверху, ржавые ворота на въезде и проходная с будкой охранника. Но Череп знал дыру в заборе — там, где в прошлом году грузовик вынес секцию ограждения, а местные поставили заплатку из сетки-рабицы, которую можно было отогнуть руками.

Они перелезли через забор первыми. Фарик — бесшумно, как кошка. Приземлился в высокую полынь и лопухи, которые росли вдоль забора, по самые колени. Серёга застрял наверху — зацепился штаниной за арматуру, просипел матом, повис на одной руке, потом сполз на землю, потирая ушибленное колено, с которого содрал кожу до крови. Ругался шёпотом, но в темноте его было хорошо слышно.

— Твою мать, — выдохнул Череп, морщась от боли. — Надо было кроссовки надевать, а не эти кеды. Задницу себе порвал.

— Цыц, — Фарик прижал палец к губам. — Не дрейфь. И нормально всё. До свадьбы заживёт.

Сторожка светилась жёлтым светом в дальнем конце площадки. Из приоткрытой форточки несло дешёвым портвейном «Агдам» — по рубль девяносто за бутылку, — махоркой и килькой в томате. Петрович сидел на табурете, уронив голову на стол, подперев щеку кулаком, и тонко посапывал, подвывая во сне. На столе — пустая бутылка «Три топора», смятая газета «Вечерняя Москва» с объявлениями «Куплю золото» и «Обменяю квартиру», килька в томате размазана по клеёнке. Жена уехала в Рязань к матери на все праздники — четыре дня свободы, и Петрович использовал их по полной.

— Спит, — шепнул Фарик, взглядываясь в силуэт охранника. — Как сурок. Пошли.

Автобаза 3 была огромной площадкой, заставленной грузовиками и легковушками. Ржавые контейнеры, кучи металлолома, запах мазута и старой резины. В углу, под навесом из шифера, стояли «коммерческие» машины — те, что начальство из главка ставило отдельно от обычного транспорта: три «Волги», две «Нивы» и старенький «Москвич». Чёрная «Волга» тридцать девятая стояла у самого забора — Фарик узнал её сразу.

Она блестела под луной, как новогодняя ёлка. Чистая, намытая, с тонированными стёклами. Колёса — новые, японские «Yokohama», широкие, с низким профилем, таких в обычных магазинах не купишь — только по блату или на чёрном рынке. Хозяин, какой-то замначальника главка, любил свою тачку. У него был инфаркт, говорили, тяжёлый, в реанимации лежал. До машины ли сейчас? Правильно, не до неё.

Фарик подошёл к ней, провёл рукой по капоту — металл был ещё тёплым от дневного солнца. Сердце колотилось где-то в горле, в висках стучало так, что, казалось, на всю автобазу слышно. Но руки не дрожали — бокс научил держать себя в руках. Когда разбираешь двигатель на скорость, когда каждое движение на счету, когда от точности пальцев зависит, заведётся машина или нет — дрожать нельзя.

— Отмычка? — шепнул Череп, оглядываясь по сторонам. Его глаза в темноте были круглыми, как у испуганного зверька.

— Отмычка.

Отмычку Фарик сделал сам, из трёхмиллиметровой стальной пластины, которую выточил в мастерской техникума. Работал над ней два вечера, подгонял под личинку замка «Волги»

— благо, у отца была такая же машина, двадцать четвёртая, которую он разбирал по винтикам. Фарик знал «Волгу» как свои пять пальцев: где какие провода идут от замка зажигания, где какой болт на карбюраторе, где какая защёлка на обшивке двери. Он мог собрать её с закрытыми глазами.

Он вставил отмычку в замок водительской двери. Чувствовал пальцами, как нащупывают сувальды — внутренние пластины замка, которые должны встать в нужное положение. Щелчок. Второй. Третий. Замок поддался с мягким, маслянистым звуком. Дверь открылась бесшумно — хозяин смазывал петли, не экономил.

В салоне пахло кожаном, нагретым за день солнцем, старой резиной и ещё чем-то неуловимо знакомым — отцовским одеколоном «Шипр». В девяностые годы каждый второй мужчина в СССР пользовался «Шипром» — резкий, терпкий запах, который въедался в одежду и не выветривался неделями. Фарик замер на миг, сжал зубы до скрежета. В груди что-то кольнуло — не то совесть, не то тоска по тому времени, когда отец приезжал с работы на своей «Волге», пахнувшей бензином и этим самым одеколоном, и они всей семьёй садились ужинать.

— Ты чего? — шепнул Череп, хватаясь за плечо. — Завис?

— Не ссы. Всё нормально. Я без замыканий, — ответил Фарик, проглатывая комок в горле.

Он нырнул под руль, пригнувшись, чтобы его не было видно через стекло. Пальцы нашарили провода замка зажигания. Их было три: красный — аккумулятор, синий — зажигание, чёрный — стартер. Можно было, конечно, вырвать весь замок, но это долго и шумно. Фарик сделал по-другому: скрутил красный с синим, замкнул напрямую. Приборная панель загорелась тусклым зелёным светом — спидометр, указатель температуры, датчик давления масла. Стрелки дёрнулись и замерли.

Сердце колотилось уже где-то в горле, но руки работали чётко, без лишних движений. Фарик проверил: бензин есть — стрелка на четверти бака, аккумулятор заряжен — лампочки горят ярко, не тускнеют. Всё в порядке. Хозяин готовил машину к лету, не жалел денег.

— Сцепление выжал? Толкаем.

Масса «Волги» — полторы тонны, почти 1420 килограммов по техническому паспорту. На стоянке — гравий, мелкий, скользкий, который скрипел под шинами предательски громко, как будто кто-то шёл по битому стеклу. Спина у Фарика взмокла за секунды, рубаха прилипла к лопаткам, волосы на затылке стали мокрыми, как после душа. Череп упирался ногами в асфальт, пыхтел, матерился шёпотом, вытирая пот с лица грязным рукавом.

— Давай, родная, давай, сучка, пошла... — шептал он, упираясь в задний бампер.

Ещё метр. Ещё. Скорость. «Волга» начала катиться легче, накатом, колёса зашуршали по асфальту, когда они выехали с гравийной насыпи на бетонную дорожку.

— Прыгай!

Череп рванул дверь с пассажирской стороны, влетел в салон, чуть не свалившись с сиденья. Фарик одновременно с этим нырнул за руль, нашарил педали босыми ногами — он скинул ботинки, чтобы чувствовать сцепление, — выжал левую педаль до упора, правой нажал на газ, воткнул вторую передачу — первую не надо, её легко заглушить, лучше со второй.

Резко бросил педаль сцепления.

Двигатель чихнул. Кашлянул. Чихнул снова — Фарик уже хотел повторить попытку, молясь всем богам, которых не знал. В голове пронеслось: «Только не сейчас, только не заглохни, не здесь, не здесь...»

И вдруг — схватил. Зарычал ровно, сыто, утробно, как большой зверь после спячки. На холостых оборотах «ЗМЗ» запел, замурыкал, завибрировал чуть-чуть, передавая дрожь на руль, на педали, на сиденье. Эта вибрация — живая, настоящая — Фарик знал её с детства.

«Волга» ГАЗ-24, которую они угнали, была не простой машиной. Это был, пожалуй, самый престижный советский автомобиль конца 1960-х — начала 1970-х, солидный по евро-

пейским меркам седан длиной 4,76 метра . Под капотом у неё стоял четырёхцилиндровый двигатель ЗМЗ-24Д объёмом 2,45 литра, выдававший 95 лошадиных сил при 4500 оборотах в минуту . Карбюратор двухкамерный, распределитель зажигания контактный — старый, но надёжный, как всё советское. Максимальная скорость — 145 километров в час, разгон до сотни — 25 секунд, не быстро по сегодняшним меркам, но в те годы этого хватало за глаза .

Четырёхступенчатая механическая коробка передач с синхронизаторами на всех передачах — даже на первой, что для советского автопрома было прогрессом. Тормоза — барабанные, с гидровакуумным усилителем, но всё равно слабоватые, особенно для такой тяжёлой машины . Подвеска — передняя независимая, пружинная, задняя — на продольных рессорах, как у грузовика. Поэтому «Волга» и славилась плавностью хода — рессоры сзади гасили любые неровности лучше всяких там пружин.

Фарик знал эту машину наизусть. Он перебирал такой же двигатель у дяди Васи в гараже, менял сцепление, регулировал клапана, прочищал карбюратор. Знал, что она любит (высокие обороты, качественный бензин АИ-93, своевременную замену масла) и чего боится (перегрева, грязного топлива и резких стартов с места).

Череп рухнул на пассажирское сиденье. Трясушимися руками ухватился за бардачок. Глаза квадратные, зрачки расширены так, что радужки почти не видно. Губы пересохли, облизнул их, снова облизнул.

— Едем, Фарик, едем, мать твою! Едем! — прохрипел он, не своим голосом.

— Не ори, — прошипел Фарик, хотя сам едва сдерживал нервную улыбку, которая лезла на лицо откуда-то изнутри, как болезненный тик. — Ещё не всё.

Он выкрутил руль левой рукой, правой плавно нажал газ — без рывков, чтобы не зашуметь. «Волга» выкатилась со стоянки, прошуршала шинами по разбитому асфальту. Фарик объехал сторожку по широкой дуге — чтобы фары не попали в окно, хотя Петрович всё равно спал, и разбудить его мог только артиллерийский залп. Нырнул под арку ворот. Левое зеркало заднего вида чуть не задело кирпичную кладку — Череп охнул и вжал голову в плечи, как черепаха в панцирь.

Выехали на Кирпичную улицу. Пустынно, тихо. Только луна светит сквозь рваные тучи, да редкие фонари мигают жёлтым светом. Впереди — путепровод, за ним — поворот на шоссе Энтузиастов, а там — рукой подать до Люблино.

Сторожка осталась позади. Петрович спал, уронив голову на стол, и, наверное, видел десятый сон.

Ночная Москва встретила их пустыми трамваями, желтыми огнями редких фонарей, запахом нагретого за день города и приближающейся грозы, которая так и не разразилась. Фарик вёл машину спокойно, не превышая скорость, не нарушая правил. Сорок километров в час — не больше. Ни к чему привлекать внимание ночных патрулей ГАИ, которые, впрочем, в эти майские праздники сами были пьяны и смотрели на дорогу сквозь пальцы.

Череп молчал, смотрел в окно. За стеклом проплывали пятиэтажки, гаражи-ракушки, пустыри с редкими фонарями. Потом сказал, глядя в темноту:

— Фаря, а ты знаешь, что мы только что перешли черту?

— Знаю, — ответил Фарик, не отрывая глаз от дороги. Голос его был спокоен — на удивление спокоен. — Но выхода не было.

Они ехали молча минут пять. Потом Череп заёрзал на сиденье, покрутил ручку стеклоподъёмника, опустил окно до половины. В салон ворвался сырой ночной воздух с запахом сирени и бензина.

— Слышь, Фарь, — сказал он уже почти нормальным голосом, без шёпота. — А как ты думаешь, сколько Вахтанг даст?

— За такую? — Фарик кивнул на приборную панель. — Ты посмотри: резина новая, японская. Движок форсированный, чувствуешь? На слух — лошадей сто, не меньше. Салон в идеале. Думаю, тысячи три-четыре даст. Может, пять, если торговаться умеем.

— Пять тысяч, — Череп присвистнул. — Мать моя за год две тысячи не зарабатывает. Полторы сотни в месяц, если повезёт.

— А моя и того меньше, — Фарик сжал руль. — Она же в поликлинике поломойкой работает — сто двадцать рублей, и те задерживают.

Он помолчал, переключая передачу на подъёме. «Волга» послушно ускорила, ровно заурчала на трёх тысячах оборотов. Красивая машина. Надёжная. Фарик даже поймал себя на мысли, что не хотел бы с ней расставаться. Но выхода не было.

— Ладно, — сказал он, выдыхая. — В Люблино так в Люблино. Сколько дадут — поделим пополам. Сабрине — на лекарства, матери — на продукты, Лейле — на форму. Отцу — на жизнь, пока работу не найдёт. А себе... себе хоть мотоцикл куплю когда-нибудь. «Иж Планета-Спорт», красный. Настя сядет сзади, обнимет — и ветер в лицо.

— Мечтатель ты, Фаря, — усмехнулся Череп, но усмехнулся не зло, а грустно, как-то по-доброму. — Ладно, мечтай. Может, и сбудется когда.

Они свернули на шоссе Энтузиастов. Впереди маячили огни Люблино — кооперативы, гаражи, промзона. Там, в одном из боксов, их ждал Вахтанг — армянин с золотыми зубами и холодными глазами, который никогда не задавал лишних вопросов. У него была разборка, куда свозили краденые машины со всего Юго-Востока. За сутки «Волгу» разберут на запчасти до винтика, и никто ничего не найдёт.

Фарик включил поворотник — и тут же выключил. На дороге никого не было. Зачем сигналить? Они и так всё делали правильно. Нет, неправильно. Но по-другому было нельзя.

— Череп, — позвал он.

— А?

— Ты не жалеешь?

Череп помолчал. Посмотрел на свои руки — грязные, с ободранными костяшками, мозолистые. Потом сказал:

— А чего жалеть-то? У меня выбора не было. У тебя — тоже. Мы не злые, Фарь. Мы просто... фартовые. Сегодня — фартовые. А завтра — неизвестно.

Они въехали в промзону. Тёмные корпуса, ржавые ворота, запах мазута и сырости. Где-то вдалеке завыла собака — тоскливо, протяжно, как будто чуяла приближающуюся беду.

Фарик выключил фары, проехал последние метры на габаритных огнях. Подкатил к железному гаражу с номером «23», нацарапанным белой краской на воротах. Три раза мигнул дальним светом — условный сигнал. Изнутри гаража послышался шум — лязг засова, скрип несмазанных петель.

Дверь открылась. В проёме стоял Вахтанг — невысокий, коренастый, в кожаном пиджаке, надетом на голое тело, с массивной золотой цепью на шее. В зубах — сигарета, дым щиплет глаза. Он посмотрел на «Волгу», обошёл её кругом, потрогал шины, заглянул в салон через тонированное стекло, поцокал языком.

— Хорошая тачка, — сказал он наконец с лёгким акцентом. — Очень хорошая. Хозяин жалел, это видно.

— Сколько дашь? — спросил Фарик, выходя из машины.

Вахтанг пожевал губу, посмотрел на небо, потом снова на «Волгу».

— Четыре косяра, — сказал он. — Дороже не могу. Сам понимаешь, время такое — ни у кого денег нет.

— Пять, — ответил Фарик твёрдо. — Резина японская. Движок форсированный.

Вахтанг усмехнулся, показав золотой зуб. Посмотрел на Черепу, потом снова на Фарика.

— Четыре пятьсот, — сказал он. — И по рукам.

— По рукам, — кивнул Фарик, и они ударили по рукам.

Вахтанг отсчитал деньги — новенькие, хрустящие купюры по пятьдесят рублей. Сунул их в рукавицу — Фарик сунул в карман, не пересчитывая. Доверял? Нет, просто знал, что Вахтанг не обманет — у него бизнес, репутация дороже.

Они развернулись и пошли пешком в сторону метро. До Соколиной Горы было далеко — час ходу, если короткими. Но на такси денег не было, да и незачем привлекать внимание.

Шли молча. Череп курил одну папиросу за другой, дымил как паровоз. Фарик сжимал в кармане пачку денег и думал о Насте. О том, как завтра купит Сабрине лекарства. О том, как мать заплачет от облегчения. И о том, что он больше никогда не хочет красть.

Но это будет потом. А сейчас — они шли по тёмным улицам спящего города, и где-то в промзоне Люблино армянин Вахтанг загонял чёрную «Волгу» в гараж, откуда ей уже не суждено было выехать целиком.

Майские праздники 1991 года запомнились Москве не только демонстрациями, митингами и рухнувшей стеной Кремля. Не только первыми попытками рыночной экономики и пустыми полками в магазинах. Но и тем, что в ночь с четвёртого на пятое мая два парня перешли черту, которую нельзя переходить.

И назад дороги не было.

Глава 3: Две недели королей

Москва, май 1991 года. Две недели они были королями. Май набирал силу. Первая зелень — та самая, яркая, липкая, пахнувшая смолой и чем-то сладким, — пробилась на деревьях, заслонив собой чёрные голые ветки. Стояли жаркие, солнечные дни. Ветер дул с юга, принося запах тополиных почек и чего-то неуловимо далёкого, почти забытого — счастья. По вечерам во дворах играла музыка из распахнутых окон: кто-то крутил «Комбинацию» («Не забывай, не прощай, бухгалтер, милый мой ангел»), кто-то — «Технологию» («Дайте мне странные танцы, где нет никого»), кто-то — «Кар-Мэн» («Саня, привет, как дела, как Чикаго?»). А где-то в глубине дворов, из распахнутых гаражей, хрипел Высоцкий: «Я не люблю, когда наполовину и когда прерывают разговор». Днём в сквере на Соколиной Горе бабки торговали зеленью — перья луна по рублю пучок, редиска по два, укроп, петрушка. Молодые мамы катали коляски, курили «Винстон» — дорогой, импортный, по рубль пятьдесят пачка — и обсуждали, где достать детское питание и подгузники. Мужики в трениках сидели у ларька с пивом, пили «Жигулёвское» по полтинник за бутылку, спорили о политике — Ельцин, Горбачёв, союз разваливается, цены растут, — и плевали в сторону Кремля. Фарик проснулся поздно в воскресенье утром, от того, что солнце било прямо в лицо сквозь кухонное окно. Раскладушка жалобно скрипела под каждым движением, пружины впивались в спину, но он спал — впервые за долгое время — без снов. В кармане куртки, висевшей на спинке стула, лежали деньги. Две тысячи двести пятьдесят рублей — огромная сумма по тем временам. В кармане джинсов — ещё мелочь, на сигареты и проезд. Он вытащил пачку денег, пересчитал в который раз, хотя знал наизусть каждую купюру. Двадцать пять красных «полтинников» с портретом Ленина и водопадом на обороте. Пятьдесят жёлтых «десяток» с башнями Кремля. И несколько синеньких «трешек», которые остались от сдачи. Надо было решать, как отдавать матери. Сказать правду? Нельзя. Сказать, что нашёл? Не поверит. Что выиграл в лотерею? В «Спортлото» тогда выигрывали копейки, да и билеты по 30 копеек — кто на них всерьёз рассчитывал? Он выбрал легенду: «Премия в техникуме за успехи. И на работе у дяди Васи за перевыполнение плана. И левые подработки — починил кому-то иномарку, заплатили по-импортному». Это звучало неправдоподобно даже для него самого. Но что ещё придумать? Когда мать вошла на кухню — заспанная, в стареньком халате, с седыми прядями, выбившимися из косы, — он протянул ей пачку денег. Две тысячи. Ровно. — Мам, держи, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — На лекарства Сабрине. На форму Лейле. На жизнь. Эльмира Каримовна посмотрела на деньги. Потом на Фарика. Потом снова на деньги. Её лицо — тонкое, морщинистое, с глубокими складками у губ — ничего не выражало. Только глаза. Чёрные, большие, пронзительные — такие же, как у Фарика, такие же, как у Сабрины, — смотрели долго, тяжело, как будто заглядывали внутрь, в самую душу. Материнское сердце — не обманешь. Никогда не обманешь. Оно чует ложь за версту, за километр, за тысячи километров. Оно бьётся в унисон с сердцем ребёнка, и когда ребёнок врёт — оно ноет, как зуб, который сверлят без наркоза. Фарик знал это. И всё равно соврал. — Сынок, — сказала мать тихо, очень тихо, так, что он едва слышал сквозь шум воды в кране и гул холодильника. — Ты только не воруй. Я лучше умру с голоду, чем ты сядешь. — Не ворую, мам, — ответил он, глядя ей в глаза. И почувствовал, как совесть ударила его под дых — тяжело, кулаком, оставив мерзкий привкус во рту. Мать помолчала. Потом взяла деньги, пересчитала — медленно, аккуратно, складывая каждую купюру в стопочку. Сунула в карман халата, прижала рукой — там, где сердце, — и вышла из кухни, не сказав больше ни слова. Только с кухни, где мать резала лук к обеду, доносился запах жареного лука, перемежающийся с тихим всхлипом. Один. Другой. И снова тишина, только нож стучит по доске — тук-тук-тук. В тот же день Фарик и мать поехали за лекарствами. Ехали на троллейбусе — семьдесят третий, до метро «Семёновская», потом на автобусе до туберкулёз-

ного диспансера на Электродной. В троллейбусе было душно, пахло потом, старыми пальто и почему-то хлоркой. Люди толкались, ругались, дети плакали, какой-то мужик в выцветшей военной форме пел песни под нос. Сабрина осталась дома с Лейлой. Сидела на кровати, поджав ноги, кутаясь в бабушкин платок, и рисовала акварелью — синие цветы на жёлтом фоне. Цветы получались грустные, с поникшими головками, но Сабрина улыбалась, когда Фарик поцеловал её в лоб перед уходом. — Ты приедешь быстрее? — спросила она, глядя своими огромными аметистовыми глазами. — Быстрее, — пообещал он. — И лекарства привезу. Такие, что ты сразу поправишься. — А конфеты? — шёпотом спросила девочка. — И конфеты. В аптеке, куда мать ходила по знакомству, их ждала тётя Рая — полная женщина с короткой стрижкой и в белом халате, который трещал по швам. Она выкатила стопку коробочек и ампул, перевязанных аптечной резинкой. — Стрептомицин импортный, три упаковки, — перечисляла она, тыкая пальцем в коробки. — Изониазид — шесть блистеров. Пиразинамид — вот эти, жёлтые. И это, — она вытащила из-под прилавка ещё один пакет, замотанный в газету, — рифампицин. Дорогой, конечно, но без него никак. Твоей девочке, Эльмира, без него — как без воздуха. Мать заплатила. Почти полторы тысячи рублей — сумма, от которой у неё задрожали руки. Но лицо осталось спокойным. — Спасибо, Рая, — сказала она. — Век не забуду. — Да ладно, — отмахнулась та, пряча деньги в сейф под прилавком. — Ты иди, лечи. А там — посмотри. Дома мать сразу поставила укол. Сабрина сидела на краю кровати, бледная, зажмурившись, сжав кулачки так, что костяшки побелели. Фарик держал её за руку — маленькую, холодную, с тонкими пальцами, похожими на птичьи лапки. — Терпи, сестрёнка, — шептал он. — Сейчас всё пройдёт. Мать ввела иглу — Сабрина вздрогнула, но не заплакала. Только закусил губу, сжала сильнее руку Фарика. Потом выдохнула — долго, с присвистом — и улыбнулась сквозь слёзы. — Всё? — Всё, доченька, — мать погладила её по голове. — Всё. В тот вечер Фарик долго сидел на кухне, пил чай с баранками и слушал, как Сабрина дышит. Дышала она тише. Спокойнее. Почти без свиста. «Всё правильно сделал, — думал он, глядя в окно на тёмный двор, где мальчишки гоняли мяч под фонарём. — Ради этого можно и срок отмотать. Десять сроков. Ради этого». Лейле купили новую форму на той же неделе. В универмаге «Москва» на Семёновской — трёхэтажном здании с огромными витринами, где в советское время выставляли манекены в лучших платьях, а теперь там царил разруха: пустые полки, очереди, злые продавщицы в синих халатах, которые шипели на покупателей. Но форму Лейле нашли. Коричневое платье из плотной шерсти — на вырост, чуть великовато, но мать сказала: «Ничего, подошьём, ушьём, до осени дорастёт». Белый фартук с кружевами — настоящий, не марлевый, не самодельный из простыни, а фабричный, с блестящими нитками. Белые банты — огромные, пышные, каких Лейла никогда в жизни не носила. И туфельки — чёрные, кожаные, на низком каблучке, с пряжкой сбоку. Когда Лейла примерила всё это дома, когда вышла из комнаты сестёр в коридор, где висело мутное трюмо в деревянной раме, она замерла перед зеркалом. Смотрела на себя — тринадцатилетняя девочка с чёрными кудряшками и серьёзными, взрослыми глазами. Провела рукой по фартуку — шуршит. Покрутилась — юбка взлетела пузырём. — Ну как? — спросила она, и в голосе её звучала такая робкая надежда, что у Фарика перехватило горло. — Ты — принцесса, — ответил он. — Настоящая. Лейла улыбнулась. Впервые за полгода — по-настоящему, открыто, во все тридцать два зуба. Улыбка осветила всю их убогую квартирку: облезлую прихожую, где обои отходили от стен большими рваными лоскутами, и за ними проглядывала серая штукатурка; линолеум на полу, прожжённый сигаретами от бесконечных гостей отца; платяной шкаф с заедающей дверцей, которую можно было открыть только если дёрнуть посильнее и одновременно нажать коленом. Фарик смотрел на сестру и не мог наглядеться. Светлая, чистая, с блестящими глазами — не та замурзанная девочка, что ходила в школу в перешитом мамином платье и в туфлях на два размера больше. Новая форма сделала её другой. Лучше. Счастливее. «Я бы ещё раз так сделал, — подумал он. — Десять раз сделал. Ради этого». Отец в тот вечер впервые за долгое время сел ужинать вместе со всеми. Не

ковырял вилкой в тарелке, не смотрел в стену пустыми глазами, отрешенно жуя и не замечая никого вокруг. А нормально, по-человечески ел суп с курицей — не из бульонных кубиков «Галина Бланка» (хотя они тогда только появились в магазинах и стоили бешеных денег), а из настоящей курицы, которую мать купила на рынке у бабок за пятнадцать рублей. Курица была тощая, жёлтая, с голыми лапами и гребешком, но мать сварила из неё такой бульон, что запах стоял на весь подъезд. Отец даже пошутил — впервые за месяц. Сказал, глядя на Лейлу в новой форме, как она сидит за столом прямо, с гордо поднятой головой:— Лейлка, ты в этих бантах как артистка из «Ералаша». Лейла зарделась, опустила глаза, но улыбнулась.— Папа, ты смеёшься?— Нет, дочка, — отец положил ложку. — Я серьёзно. Красивая ты у нас. Мать молчала, но глаза её были влажными. Она смотрела на детей, на мужа, на стол, где стояла тарелка с хлебом — белым, свежим, а не чёрствой горбушкой, которую размачивали в чае. И улыбалась краешками губ. Сабрина тоже сидела за столом — впервые за много дней, не в кровати, не укрытая одеялом, а рядом со всеми. Худая, бледная, с синими кругами под глазами, но живая. Она ела суп маленькими ложками, медленно, стараясь не кашлять, и иногда поднимала глаза на брата — благодарные, доверчивые, как у щенка. Фарик смотрел на семью — на мать, на отца, на сестёр — и чувствовал, как в груди разливается что-то теплое, тягучее, похожее на счастье. С примесью страха. Потому что он знал: всё это — фальшивка. Деньги кончатся. Лекарства — тоже. А совесть — она не купится ни на какие банты и импортный стрептомицин. Она будет сидеть внутри, грызть, напоминать. Но сейчас — сейчас было хорошо. У Черепа дела обстояли иначе. Он отдал матери тысячу пятьсот рублей — деньги для него огромные, полные. Лидия Павловна, мать Черепа, работавшая уборщицей в метро — мыла полы на станции «Семёновская» с пяти утра до двух дня, а потом ещё подрабатывала в ночную смену, когда не хватало людей, — получив на руки эту пачку, заплакала.— Серёжа, сынок, — говорила она, вытирая слёзы краем фартука. — Откуда? Господь с тобой, не украл ли?— Всё нормально, мам, — отмахивался Череп. — Подработка. Охранял склад ночью. Заплатили сразу. — Ох, не нравится мне это... — вздыхала мать, но деньги прятала в шкаф, в коробку из-под обуви. Сестрам-близняшкам — Свете и Лене — купили новые туфли в школу. Серые, с ремешками, размера тридцать третьего. Те, что были у них — от соседки, старые, с дырявой подошвой, проклеенной изолентой, — пошли на выброс. И кеды Черепу — новые, не китайские, а настоящие «Adidas», чёрные, с тремя белыми полосками. Небось, не отклеятся никогда. Стоили они, правда, сто двадцать рублей — почти месячная зарплата его матери, но Череп решил: раз уж жизнь одна, то гулять так гулять. Остальное — рублей пятьсот — ушло в три дня. В подворотне, с корешами, которые всё время появлялись и исчезали, как тараканы при свете. Пил портвейн «777» — по рубль тридцать бутылка — и «Три топора», который был дешевле, но и гаже. Закусывал килькой в томате из банки, сухарями, иногда — если везло — плавленым сырком «Дружба». Кореша были разными: Леха с соседнего двора, которому только что дали условный срок за драку; Витёк, от которого всё время пахло бензином и который работал на заправке; Саня, мелкий, вертлявый, с бегающими глазками, всегда готовый на любое дело — от стащить кошелек из сумки в троллейбусе до поджечь чужую машину. Они пили, травили байки, пели песни под гитару — блатняк, естественно, «Владимирский централ», «Мурку», «Колыму». Кто-то принёс кассету с «Лесоповалом» — эту крутили на повторе, потому что «за душу берёт». Череп вернулся домой на третью ночь — пьяный, грязный, в фуфайке с чужой кровью на рукаве (кто-то разбил нос в драке у ларька) и без одной кеда. Кед, видимо, потерял где-то по дороге. Или пропил. Или его сняли, пока лежал без сознания в кустах. Лидия Павловна не спала. Она сидела на кухне в темноте, курила «Приму» — самые дешёвые сигареты, которые можно было найти, — и смотрела в окно. Света и Лена давно спали, укрывшись одним одеялом на двоих, потому что второго не было. Череп ввалился в комнату, споткнулся о порог, зацепился плечом за косяк, выругался матом. Мать не сказала ни слова. Только протянула кружку с чаем — холодным, горьким, вчерашним.— Пей, — сказала она. Череп выпил,

поморщился. Сел на табуретку, скинул оставшийся кед, стащил мокрую фуфайку. Тельняшка была в пятнах — портвейн, кровь, неизвестно что. — Мам, ты извини, — сказал он, не глядя на неё. — За что, Серёжа? — За всё, — он поднял голову. Глаза красные, опухшие, но не пьяные уже — скорее, уставшие до смерти. — За то, что я такой. Что не служил на флоте. Что деньги трачу на ерунду. Что близняшкам помочь не могу нормально. Что живу в этой конуре... — Он оглядел комнату — четырнадцать метров, ширма из простыни, раскладушка в углу, шкаф с отломанной ножкой, подпёртый кирпичом. Мать подошла, села рядом, обняла его за плечи. Череп был выше неё на голову, но сейчас выглядел маленьким, потерянным мальчишкой. — Ты хороший, Серёжа, — сказала она. — Просто жизнь такая. А ты хороший. Запомни. Череп шмыгнул носом, вытер глаза грязным кулаком. Мать не стала говорить про деньги, про работу, про будущее. Только обняла покрепче и погладила по стриженной голове — той самой, где рыжие волосы торчали ёжиком. На следующий день Череп клялся, что завязывает. Сидел на лавочке, держался за голову, пил минералку — боржоми, которого было не достать, но в киоске на углу вдруг появилась партия, — и ныл. — Фарик, — говорил он, морщась от каждого звука. — Всё, завязываю. Вот те крест, завязываю. Алкоголь — зло. — Ты в прошлый раз то же самое говорил, — усмехался Фарик, доедая мороженое — пломбир за двадцать две копейки, в бумажном стаканчике, с деревянной палочкой. — В прошлый раз не считалось, — Череп отхлебнул минералки, скривился. — Теперь — всерьёз. Надо работу искать. Мать не железная, ей помогать надо. — Иди к дяде Васе в гараж, — предложил Фарик. — Мне помощник нужен. Три рубля в час. Грязно, тяжело, но деньги. Череп задумался. Посмотрел на свои руки — грязные, с ободранными костяшками, с мозолями от турника во дворе. — А научишь? — спросил он. — Научу, — кивнул Фарик. — Делов-то. И они ударили по рукам. Через неделю они снова пили пиво у того же ларька. Но уже вечером, после работы. Череп перепачкал руки в масле до локтей, промыл карбюратор, поменял прокладку головки блока на чьём-то «Запорожце» — и получил пятнадцать рублей за день. Впервые заработанных честно. Пили не портвейн, а пиво. Не в подворотне, а на лавочке, как нормальные люди. Говорили о будущем — о том, что надо копить на нормальный инструмент, брать заказы, может быть, открыть свою мастерскую. Когда-нибудь. Потом. Две недели они были королями. Семнадцать дней — с ночи угона, пятого мая, до того самого утра двадцать второго, когда Фарик увидел во дворе незнакомую серую «Волгу» и милицейский «УАЗик» и понял: сказка кончилась. Но об этом — позже. Пока же май грел землю, сирень цвела пышным цветом, и по вечерам из окон всё так же гремела музыка: «Белые розы, белые розы, беззащитны шипы» И казалось, что так будет всегда.

Глава 4: Облом

Двадцать второе мая 1991 года, утро.

Тот день начался как обычно. Солнце встало рано, ещё в пятом часу, и сразу принялось нагревать асфальт, стены домов, железные крыши гаражей. К восьми утра во дворе Соколиной Горы уже было по-летнему жарко — градусов под двадцать, не меньше. Из форточки на первом этаже пахло жареной картошкой и котлетами — кто-то готовил завтрак. На лавочке у подъезда сидели бабки, перебирали семечки, судачили о новостях. По радио, которое кто-то включил на полную мощность, диктор вещал о переговорах с союзными республиками и о том, что цены на хлеб снова собираются поднимать.

Фарик проснулся без будильника — привык. На кухне было светло, солнечные лучи падали на стол, на газовую плиту, на желтоватый потолок с потеками. Мать уже возилась у плиты, гремела кастрюлями. Запах овсяной каши — дешёвой, серой, которую варили на воде без масла — смешивался с запахом сигаретного дыма от отца. Тот сидел на табурете у окна, курил «Астру» и смотрел в пустоту. Работу он так и не нашёл — третью неделю сидел дома, перебирал карбюратор, пил чай, ходил на биржу труда, где ему предлагали то дворником, то грузчиком за сто рублей.

Сабрина в последние дни дышала легче — лекарства помогали. Кашель стал реже, глуше, не таким надрывным. Мать говорила, что если так пойдёт, то через месяц можно будет сделать контрольные снимки. Лейла собиралась в школу — в новой форме, в новых туфлях, с белыми бантами. Крутилась перед зеркалом полчаса, никак не могла налюбоваться собой.

Фарик собирался в техникум. Накинул джинсы — те самые, старые, вытертые на коленях, в которых он был в ночь угона. Джинсы он не стирал с тех пор, но не потому, что ленился — просто казалось, что если постирать, то пропадёт что-то важное, какой-то след той ночи, который он ещё не готов отпустить. Завязал шнурки на кедах «Adidas» — новых, купленных на часть своей доли. Китайские, конечно, не настоящие — три полоски через месяц отклеятся, — но красивые, белые, ни разу не надёванные. На футболку надел свою старую куртку-«аляску», хотя на улице было жарко, — в кармане лежали две красные десятирублёвки. Двадцать рублей. На них можно было купить Насте букет гвоздик на Семёновском рынке или два пломбира с шоколадной крошкой, или пачку настоящих сигарет «Marlboro» в ларьке у метро, если повезёт.

Настя ждала его сегодня после пар. Они собирались гулять в Измайловский парк — там уже всюду цвела сирень, и, говорят, открыли лодочную станцию. Фарик обещал покатать её на лодке. Два рубля в час — недорого.

В дверь постучали без четверти девять.

Не просто постучали — забарабанили кулаками. Коротко, резко, властно — так стучат только люди, которые знают, что им откроют. Гулко, страшно, так, что, казалось, стены затряслись. Со второго удара задребезжали стёкла в кухонном окне.

Сосед сбоку, дядя Гриша — тот самый, который каждую субботу орал на жену матом, а потом плакал и просил прощения, — замолчал на полуслове. Детский плач в квартире напротив стих — даже малолетние дети чувствуют неладное, когда в дом приходит беда.

Мать замерла у плиты с ложкой в руке. Ложка выпала, загремела о кафельный пол, покатилась под стол. Лицо матери сделалось белым — не бледным, а именно белым, как лист бумаги, как тот самый мел, которым пишут на школьной доске. Она не сказала ни слова. Только посмотрела на Фарика долгим, тяжёлым взглядом — и в этом взгляде было всё: и страх, и боль, и какое-то страшное, материнское «я же знала».

Отец побледнел — не так сильно, как мать, но тоже заметно. Вскочил с табурета, сжал кулаки так, что костяшки побелели, хрустнули. Его кадык дёрнулся, когда он слотнул. Он

шагнул вперёд — заслонить сына, грудью встать, как когда-то в молодости заслонял свой грузовик на горных дорогах Узбекистана. Но Фарик остановил его движением руки.

— Открывайте, милиция! — раздалось из-за двери. Голос был грубый, прокуренный, не терпящий возражений.

Фарик почему-то сразу всё понял. Не удивился. Не испугался даже — так, внутри ёкнуло где-то под ложечкой, замерло на секунду, а потом сразу отпустило. Странное чувство — как будто он этого ждал. Всю эту неделю, всё это время, пока покупал Сабрине лекарства, Лейле форму, пока сидел за ужином с семьёй и смотрел на счастливые лица, — внутри сидел червячок, маленький, противный, который точил его изнутри и шептал: «Это ненадолго. Всё это ненадолго. Расплата будет».

И вот она пришла.

Фарик встал, одёрнул рубаху, поправил воротник. Джинсы, кеды, куртка-«аляска». Нашёл взглядом в зеркале на дверце шкафа своё отражение — восемнадцать лет, чёрные кучерявые волосы, тёмные глаза, скулы, как у отца. Показалось, что за эту неделю он постарел лет на пять.

Пошёл открывать.

За дверью стояли трое. Двое в штатском — в тёмных пиджаках, дешёвых, с пузырями на локтях, с красными корочками наизнанку. И участковый — дядя Саша, которого в их дворе знали все. Участковый был в форме, фуражка сбита на затылок, лицо красное, не то от жары, не то от стыда. Он смотрел в пол, в стёртый линолеум на лестничной клетке, и ему явно было неловко. Дядя Саша знал Фарика с детства — тот никогда не шалил, не хулиганил, помогал матери по дому, учился на хорошиста. А теперь вот.

— Фархад Шеибов? — спросил один из штатских, тот, что повыше и пошире в плечах. Капитан, лет тридцати пяти, лицо рябое — следы старой угревой сыпи, рыжие усы топорщатся в разные стороны, глаза маленькие, колючие, как буравчики. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака красную корочку с гербом — герб Советского Союза, серп и молот, — и сунул Фарику под нос. — Капитан Сорокин, уголовный розыск. Пройдёмте с нами. По подозрению в угоне автотранспортного средства, принадлежащего гражданину Кравченко В. И., с автобазы 3.

Фарик молчал. Смотрел на капитана, на его усы, на красную корочку, на дядю Сашу, который так и не поднял глаз. В голове было пусто и чисто, как в только что вымытом окне.

— Фархад, ты слышишь? — спросил участковый тихо, почти шёпотом. — Ты иди, не сопротивляйся. Так лучше будет.

Фарик кивнул. Обернулся.

Увидел лицо матери — белое, как мел, с серыми губами, с глазами, из которых слёзы уже катились крупными, быстрыми каплями. Её руки были прижаты к груди, пальцы сжаты в кулаки, ногти впились в ладони. Она не плакала вслух — только слёзы текли по щекам, падали на халат, на воротник, на пол.

Увидел отца. Тот стоял, сжимая кулаки, кадык ходил ходуном. В его глазах — черных, огромных, таких же, как у Фарика, — была такая ярость, такая боль, что казалось, они сейчас застрелят искрами. Но он молчал. Молчал и не двигался.

Из-за спины матери, из коридора, выглядывала Сабрина. Худая, бледная, в длинной ночной рубашке, с распущенными чёрными волосами. Она смотрела на Фарика своими огромными аметистовыми глазами — и в них был ужас. Чистый, детский, непонимающий ужас. Она не знала, почему милиция пришла к её старшему брату, почему мать плачет, почему отец сжал кулаки. Она только чувствовала, что происходит что-то страшное.

А за спиной Сабрины, в дверях комнаты, стояла Лейла. Она ещё не ушла в школу — услышала шум, выбежала из комнаты и застыла на пороге, зажав рот ладошкой. В новой форме, с белыми бантами, с туфельками, которые она берегла как зеницу ока. Она смотрела на брата, и глаза у неё были совсем взрослые.

Фарик не выдержал этого взгляда. Отвернулся.

— Не надо, пап, — тихо сказал он, услышав, как отец сделал шаг вперёд. — Всё нормально. Я сам разберусь.

— Сынок — голос отца дрогнул, сел, превратился в хрип.

— Я скоро, мам. Не бойся. — Он посмотрел на мать, заставил себя улыбнуться. Улыбка получилась кривая, жалкая, не такая, как надо. — Всё будет хорошо.

Он врал. И знал, что врёт. И мать знала, что он врёт. И отец. И даже маленькая Сабрина, которая ничего не понимала в этой жизни, — она тоже знала. Потому что когда приходит милиция, ничего хорошего не бывает. Никогда. Это знали все в их дворе, в их районе, в их городе. Это впитали с молоком матери.

Капитан Сорокин махнул рукой, и второй штатский — молодой, в очках, с жидкой бородёнкой, которую он пытался отрастить, чтобы казаться старше, — достал наручники. Холодные, стальные, блестящие, они противно защёлкали, когда он разводил их в стороны. Фарик протянул руки, послушно подставил запястья. Металл коснулся кожи — холодный, мерзкий, чужой.

— Ты имеешь право хранить молчание, всё, что ты скажешь — начал было капитан, но Фарик не слушал. Он смотрел на свои руки в наручниках и почему-то вспомнил, как в детстве надевал на запястья мамы браслеты — тонкие, серебряные, с подвесками в виде полумесяцев. И как мама смеялась: «Вылитый жених, невесту себе уже нашёл?»

А теперь эти браслеты были другими.

Повели вниз по лестнице. Топот сапог — свой, участкового, и чужой, штатских, — гулко отдавался в подъезде. На лестничной клетке второго этажа открылась дверь, выглянула соседка тётя Зина — грузная женщина в бигуди и засаленном халате. Увидела Фарика в наручниках, ахнула, перекрестилась.

— Господи Иисусе, — прошептала она. — Фархад? За что ж?

Ей никто не ответил.

На первом этаже, у выхода из подъезда, дверь в квартиру дяди Саша была распахнута настежь. Сам дядя Саша стоял на пороге в семейных трусах и майке, с сигаретой в зубах, и молча смотрел. Молча. Даже не спросил ничего. Только головой покачал.

Фарик вышел во двор. Солнце ударило в глаза — яркое, белое, уже высокое. На лавочках — как всегда, с утра пораньше — сидели бабки. Две — тётя Клава и тётя Паша, вечные сплетницы, — уже вовсю шушукались, кивали в сторону подъезда. Третья, бабка Шура, которая торговала семечками, замерла с открытым ртом, забыв закрыть пакет с товаром. Мужики, что пили пиво с утра — хотя было ещё только начало десятого, — поворачивали головы, шурились. Кто-то сочувственно вздыхал, качал головой. Кто-то злорадствовал — тихо, вполголоса, но Фарик слышал: «Молодой, а туда же, ворует. Поделом. Раньше бы таких»

Пацаны мелкие, что гоняли мяч у песочницы, остановились. Самый старший из них, Колька, одиннадцати лет, смотрел на Фарика круглыми глазами, и в его взгляде читалось что-то вроде восхищения. Фарик в его глазах становился героем — как тот самый благородный разбойник из книжек, которого ловят, но который сделал всё правильно. Фарик отвёл взгляд. Героем он себя не чувствовал. Чувствовал он себя дерьмом.

Серый «уазик» с решётками на окнах стоял у самого подъезда, подвывая движком на холостых оборотах. Мотор чихал, дымил — старый, ушатанный, наверное, ещё с Афгана. Капитан Сорокин открыл заднюю дверцу, толкнул Фарика внутрь. Фарик пригнулся, влез на жёсткую железную скамейку без обивки. Металл был холодным даже через джинсы.

— Сядь, не дёргайся, — буркнул капитан и захлопнул дверцу.

Машина тронулась, подпрыгнула на первой же кочке — рессоры старые, дороги разбитые. Фарик ударился головой о решётку, но не почувствовал боли.

Он повернул голову, посмотрел в мутное, заляпанное грязью стекло. В последний раз увидел свой двор — пятиэтажку с облупившейся краской, качели, на которых они с Настей качались прошлым летом, лавочку, где он впервые поцеловал её — робко, неумело, как мальчишка. Увидел свой подъезд — грязный, с разбитыми ступенями, с объявлением «Соседи, не сорите!», висающим на кривом гвозде.

Увидел мать. Она стояла на балконе пятого этажа — маленькая, худая, сгорбленная, похожая на чёрную птицу, примостившуюся на карнизе. Она вытирала слёзы фартуком — тем самым, клетчатым, в котором каждое утро готовила завтрак. И смотрела вслед «уазике» так, будто провожала сына на войну.

Из окна на пятом этаже высунулась Лейла. Она кричала что-то, размахивала руками, но слов было не разобрать — шум мотора, гул города, крики бабок и детский плач заглушали всё. Белые банты на её голове трепетали на ветру, как крылья — как крылья той самой птицы, которая пыталась взлететь.

Фарик закрыл глаза. И увидел перед собой Настю. Её серые глаза, веснушки, короткую стрижку. Они должны были сегодня гулять в Измайловском парке. Кататься на лодке. Она ждала его после пар. А он ехал в «уазике» с решётками. И не знал, когда выйдет.

Машина свернула за угол, и двор Соколиной Горы исчез.

В тот же час, всего на час раньше, брали Черепа.

В его коммуналку на четвёртом этаже менты вломились без стука. Дверь была хлипкая, держалась на одном шурупе — её выбили с ноги. Лязг, треск, щепки летят в разные стороны. Соседи повысовывались из своих комнат — кто в халате, кто в нижнем белье, кто с чашкой чая в руках.

Череп спал после очередного загула. Вчера он снова ушёл с корешами — проведать того самого Вахтанга, который дал им четыре пятьсот за «Волгу». Вахтанг поставил ящик коньяка «Арагат» — наверное, краденого, но вкусного, — и они отмечали «успешную сделку» до трёх ночи. Череп вернулся в половине четвёртого, разбудил мать, долго искал ключи от квартиры, потом не мог попасть в дверь, потом не мог попасть в свою комнату. Упал на продавленный диван в трусах и майке-алкоголичке — серой, растянутой, с дырой на животе. Храпел так, что, наверное, слышно было на всю коммуналку.

Он даже не проснулся, когда выбили дверь. Только перевернулся на другой бок, буркнул что-то нечленораздельное, снова захрапел. Мент — из тех же, что брали Фарика, но другой, коренастый, с бычьей шеей — схватил его за плечо, рванул на себя.

— Сергей Черепанов? Подъём!

Череп открыл глаза. Мутные, красные, с трудом фокусирующиеся. Увидел перед собой чужое лицо, форму, наручники в руках второго мента. За спиной — мать в дверях: глаза квадратные, руки трясутся. Сестры-близняшки, Света и Лена, прижались друг к другу в углу, обхватив друг друга за плечи, бледные, дрожащие.

— Чего? — спросил Череп сиплым голосом. — Вы кто?

— Уголовный розыск. По подозрению в угоне. Одевайся, поехали.

Череп сел на диване, потёр лицо руками. Голова трещала, во рту — вкус перегара, вчерашнего коньяка и ещё чего-то кислого. Наручники защёлкали на его запястьях раньше, чем он успел сообразить, что происходит.

— Мам, — сказал он, обернувшись к матери. — Не бойся. Я скоро. Разберутся.

Лидия Павловна не ответила. Она стояла, вцепившись в дверной косяк, и смотрела на сына — такого большого, сильного, но сейчас такого беспомощного, в одних трусах и рваной майке, с наручниками на руках.

— Вас понял, — Череп нашёл в себе силы усмехнуться — криво, горько. — Заметано.

Он не сопротивлялся. Не ругался. Не орал, что он ни в чём не виноват. Только спросил, когда его выводили в коридор мимо соседей, которые тарасились во все глаза:

— А Шеибова взяли?

— Возьмём, — ответил мент с бычьей шеей. — Не переживай, он тебя в камере подождёт. Череп кивнул. И вдруг улыбнулся — не по делу, не к месту, а просто так, от облегчения.

«Вместе, значит, — подумал он. — Вместе и ответим. Фартовые, блядь. Две недели королями были. Теперь — пешками».

Его вывели во двор в трусах и майке. Кто-то из соседок охнул, прикрыла глаза рукой. Кто-то засмеялся. Кто-то — дядя Коля из соседней комнаты, с которым Череп постоянно ругался из-за очереди в туалет, — крикнул вслед: «Так тебе и надо, алкаш!»

Череп не обернулся. Залез в «уазик» — другой, такой же серый, — плюхнулся на холодную скамейку. Снаружи хлопнула дверца. Машина тронулась.

— Дурак я, — сказал он вслух, ни к кому не обращаясь.

Мент с бычьей шеей, сидевший напротив, хмыкнул:

— Не ты один.

«Уазик» выехал на шоссе Энтузиастов и растворился в утреннем потоке машин. Сзади осталась Соколиная Гора, их дворы, их коммуналки, их бедная, разваливающаяся на глазах жизнь.

Две недели королей кончились.

Начались будни.

В отделении милиции на Красноказарменной их посадили в разные камеры — недалеко, через стенку. Слышно было, как Череп о чём-то спорил с ментами, доказывал, что у него есть права, что он ничего не крал, что это ошибка. Голос у него был громкий, сиплый, срывающийся на мат. Потом всё стихло.

Фарик сидел на деревянных нарах, смотрел на зарешечённое окно, за которым был виден кусок серого неба и чья-то кирпичная стена. В камере пахло сыростью, кислым потом, дешёвым табаком и ещё чем-то неуловимо тоскливым — может быть, чужими слезами.

Он вспомнил, как мать вчера вечером штопала его носки — сидела на кухне, при свете тусклой лампочки, нанизывала нитку на иголку близорукими глазами. Как напевала что-то тихонько — старую турецкую песню, которую пела ещё её мать. И вдруг понял: всё, что он сделал, — всё это было ради того, чтобы мать не сидела вечерами в темноте и не считала копейки. А теперь она сидит одна в пустой квартире и, наверное, плачет.

«Фартовый, — подумал он с горькой усмешкой. — Нашёл фарт. Две недели королём побыл. А теперь — сиди в камере и слушай, как в соседней клетке твой кореш матом ругается».

Он закрыл глаза. Вспомнил Настю — как они целовались на лавочке, как она смеялась, когда он щекотал её.

— Только успел бы ты, Настюха, — прошептал он в пустоту.

На стене камеры кто-то написал ногтем или гвоздём: «Здесь был Вася, 1987». Фарик посмотрел на эту надпись и подумал, что Вася, наверное, уже давно вышел. Или не вышел.

А он — выйдет.

Обязательно выйдет.

Ради матери. Ради Сабрины. Ради Лейлы. Ради отца. Ради Насти.

Ради того, чтобы больше никогда не воровать.

Глава 5: Матёрый

СИЗО «Матросская Тишина», Москва, конец мая 1991 года

Камера встретила Фарику запахом. Не тем воздухом, которым дышат на воле — после дождя, сирени, нагретого асфальта, — а чем-то густым, въедливым, пропитавшим стены, нары, потолок за много лет. Смесь махорочного дыма — дешёвой, вонючей махры, которую здесь курили вместо нормальных сигарет, — кислого пота, въевшегося в серые байковые одеяла, хлорки, которой раз в день брызгали в углах, и того сладковато-гнилостного духа, что тянулся от параша в дальнем углу. Фарик невольно дёрнул носом, сглотнул. В горле запершило.

Конвоир — молодой прапорщик с мешками под глазами и пожелтевшими от недосыпа белками — толкнул его в спину.

— Заходи, кучерявый. Чего встал?

Фарик шагнул внутрь. За спиной лязгнул замок, провернулся ключ. Щёлк. Всё. Теперь он здесь. С другой стороны двери.

Обстановка была спартанской до зубовного скрежета: нары в два яруса вдоль стен, железные, сваренные из толстого уголка, ржавые в местах, где облупилась краска. Застелены они были серыми, колючими одеялами с чёрным клеймом «Минюст» — такими жёсткими, что ими хоть стены драй. В углу — бетонный пол с небольшим сливным отверстием, параша, огороженная низкой стенкой из того же бетона. Ржавый бачок с цепью, на цепи — облезлая ручка. Железная тумбочка, приваренная к полу. На ней — несколько алюминиевых мисок, ложек и кружек, все помятые, с потёртыми боками.

Высоко под потолком — узкое окно, забранное толстой решёткой, а за решёткой — ещё и мелкой сеткой, чтобы мечты и желания не вылетали. Сквозь эту сетку пробивался только кусочек серого, майского, сыроватого неба. Ни облачка не разглядеть, только муть и свет, который в полдень становился чуть ярче, давая понять, что там, снаружи, всё ещё существует солнце.

Фарик остановился у порога, как вкопанный. В кармане его спортивных штанов — казённых, мешковатых, с надписью «СИЗО-1» на поясе, выведенной химмаркером, — лежали две пачки «Астры», пропущенные через КПП стараниями матери. Две пачки на неделю. Надо было растягивать.

Пацанские понятия, заложенные ещё во дворе на Соколиной Горе, сработали автоматически, будто кто-то щёлкнул тумблером в голове. Он слышал от старших: в камеру заходишь — голову не опускай, но и не выпячивайся. Не быкуй — убьют. Не ссы — заклюют. Смотри прямо, но без вызова. Руки по швам. Никаких резких движений. Никакой суеты.

Он поднял глаза и окинул камеру взглядом. Взвесил обстановку, как учили.

В правом углу, на нижних нарах, жались двое узбеков — смуглые, черноволосые, с запавшими щеками. Один постарше, лет под сорок, с глубокими морщинами на лбу и сединой в усах. Второй — совсем пацан, может, годков семнадцать, с испуганными карими глазами, которые смотрели на Фарику, как у затравленного волчонка. Они шептались между собой на своём, иногда поглядывая в сторону главного обитателя камеры — того, кто лежал у окна. На узбеках были одинаковые серые робы, на ногах — шлёпанцы на босу ногу. За что их взяли — неизвестно. Вали, фарцовщики, нелегалы — да мало ли за что хапнули в 1991 году?

У стены, на верхних нарах, сидел молодой хмырь, бритый налысо, с наколкой на пальцах: на левой руке — «НЕ ЗАБУДУ», на правой — «МАТЬ РОДНУЮ». Буквы выбиты синими чернилами, немного расплывшиеся, но читаемые. Хмырю было лет двадцать пять, не больше. Лицо опухшее после вчерашней пьянки, под глазами синяки, на скуле свежий шрам — не зашитый, кое-как стянутый пластырем. Он сидел, поджав одну ногу под себя, и сверлил Фарику взглядом — наглым, оценивающим, как продавец на рынке, который решает, сколько с тебя содрать за китайские джинсы.

— Чего вылупился, козёл? — спросил он, сплюнув сквозь зубы. Плевков шмякнулся об пол в полуметре от Фарика.

Фарик промолчал. Не его уровень.

Дальше, у самой стены, на нижних нарах сидел старый блатной. Лет шестидесяти с хвостиком, а может, и семидесяти — в этом возрасте все выглядят одинаково, если жизнь прошла за решёткой. Волосы белые, как пух одуванчика, тонкие, редкие, торчат в разные стороны. На голове — засаленная чёрная кепка-восьмиклинка, надвинутая на самые брови. На нём была тельняшка с выцветшими полосками и чёрные треники с пузырями на коленях. Он сидел на нарах, скрестив ноги по-турецки, и пил чай из алюминиевой кружки — маленькими глотками, с наслаждением, как будто это был не кипяток с заваркой третьей свежести, а дорогой коньяк. На новенького он не смотрел вообще — ни взглядом, ни поворотом головы. Для него Фарика не существовало. Пока не заслужил — не существует.

Но главный был у окна.

Лежал на нижних нарах — тех, которые под самым окном, на сквознячке. На левом боку, подложив под голову тощую жилистую руку. И читал книгу.

«Трёх мушкетёров» Александра Дюма-отца — замусоленных до такой степени, что обложка держалась на честном слове и синей изоленке, которой кто-то заботливо обмотал корешок. Страницы пожелтели, края обтрепались, некоторые выпадали и были вложены обратно на свои места — кое-как, не по порядку. Мужик листал их медленно, с расстановкой, иногда останавливаясь на какой-нибудь фразе, перечитывая её про себя.

Мужику было лет сорок. Может, сорок пять. Не понять сразу — время на зоне ставит на лицах такие отметины, что возраст становится условностью. Жилистый, поджарый, как борзая. Кожа на лице — обветренная, тёмная, с глубокими морщинами, проложенными не старостью, а жизнью. Складки у губ — жёсткие, горькие. Скулы острые, под скулами — тени. Глаза пронзительные, светло-голубые, с такими бледными радужками, что они казались почти белыми на загорелом лице. И смотрели эти глаза сквозь тебя — как рентген, как старый хирург, который без скальпеля видит, где у тебя гниёт внутри.

На груди у него висел крест на медной цепочке — вытертой до блеска, каждое звено отполировано многолетним ношением. Крест был простой, без украшений, литой, тёмный от времени. Закреплён на цепочке двумя кольцами, чтобы не болтался. Отсюда и кличка — Крест. Или Крестовый. Кто-то звал просто Крест, кто-то — дядя Крест, кто-то — Крест-батюшка, с уважением и страхом.

Фарик слышал эту кличку раньше. Ещё на воле, от бывалых людей. Крест — вор в законе. Авторитет. Из тех, кто держит обшак, кто решает споры, кто не лезет на рожон, но если надо — может одним словом изменить судьбу человека. Реальных сроков у него было два — за разбой и за грабёж с нанесением тяжких телесных, но все, кто с ним сидел, говорили: Крест не пальцем деланный. У него голова варит, как никогда. И пальцы у него длинные, тонкие, унизанные перстнями — два серебряных с бирюзой на левой руке, один золотой с агатом на правой. На зоне перстни — не просто украшение. Это статус.

— Чего встал, кучерявый? — спросил Крест, не отрываясь от книги. Голос низкий, хриплый, как наждачная бумага по стеклу. Простуженный, что ли, или сорванный на какой-то давней пьянке.

— Фархад меня зовут, — ответил Фарик. Голос не дрогнул, хотя внутри всё сжалось. — Фарик.

— А-а-а, Фархад. — Крест отложил книгу — не захлопнул, а аккуратно закрыл, положил на нары обложкой вверх, — и сел, свесив босые ноги. На ногах — шлёпанцы из чёрной резины, китайские, с потёртыми ремешками. — Ну, давай, турок. Рассказывай. По какой масти залетел? Только без понтов. Без пыли в глаза. Я враньё за версту чую, у меня нюх на дерьмо, как у собаки Павлова. Я, пацан, не пальцем деланный — меня на говне не проведёшь. Предупреждаю

сразу: заливалово не люблю, а правду — уважаю. Даже если она горькая. Даже если она в жопу кусается. Правда есть правда. С неё спрос другой.

В камере повисла тишина. Такая, что слышно было, как за стеной капает вода из ржавого крана — кап, кап, кап, с интервалом в пять секунд.

Узбеки замерли, не дыша. Молодой хмырь на верхних нарах приоткрыл рот, забыв закрыть. Старый блатной в кепке отставил кружку и медленно, очень медленно повернул голову в сторону Креста, ожидая развязки.

Фарик сглотнул. Горло пересохло, как в пустыне. Он подумал о матери, о Сабрине, о Насте. И сказал:

— Угон. Статья 89-я, часть вторая. «Волгу» тридцать девятую, чёрную, коммерческую угнал. С автобазы. На запчасти толкнул — под разбор, в Люблино, армянину Вахтангу. Дали четыре пятьсот. Половину матери отдал — на лекарства сестре. Сестра больна, туберкулёз запущенный. Деньги нужны были. Срочно. Иного выхода не видел. Дурак я. Не спорю.

— Дурак, — повторил Крест, не как насмешку, а как констатацию факта. Как врач говорит пациенту: «У тебя сломана нога». — Дурак, конечно. На ходу подметки рвёшь? Нет? Тогда нахера тебе в это дело лезть? Ты кто по жизни? Студент? Рабочий?

— В техникуме учусь, автодорожном. Третий курс. Права есть — на «Б» и на «С». В гараже у дяди Васи подрабатываю — движки чиню. Могу любой мотор собрать с закрытыми глазами. Золотые руки, говорят. Только золотые руки сейчас... сами понимаете, не кормят.

— Понимаю, — Крест кивнул. — Время сейчас такое — каждый сам за себя. Страна катится в жопу, цены растут, магазины пустые. Я за новостями слежу — там такое творится, что волосы дыбом. Горбачёв со своей перестройкой... — Он махнул рукой, не договорив.

Помолчал. Потёр переносицу костяшкой указательного пальца — сначала справа налево, потом слева направо.

— Лекарства, значит, — сказал он задумчиво. Голос стал тише, спокойнее, как будто он размышлял вслух. — Добрый самаритянин, мать его. Только в нашей жизни добрые самаритяне в тюрьме и сидят, пацан. Ты это усвой. У добрых — сроки. У злых — деньги и власть. — Он усмехнулся, но глаза остались холодными. — А ты думал, кому помог, когда чужую тачку уводил? У хозяина, может, семья, дети. Он на этой «Волге» — так сказать, на хлеб зарабатывал, на масло, на колбасу по талонам. А ты её — под нож, на запчасти. И остался человек без колес. Без работы. Без корки хлеба. Ты об этом подумал, турок? А?

Фарик опустил голову. Рука сама потянулась к карману, нащупала пачку «Астры», но доставать не стал — нельзя при Кресте раньше времени. Надо ждать разрешения. Или пока сам не предложит. Порядок есть порядок.

— Не подумал, — признался он, глядя в пол, в бетонные плиты с выбоинами. — Знаю — неправильно сделал. Мне сестра дороже была. И мать. И отец без работы. И сестрёнка младшая — в школу собрать нечего. Но хозяину... хозяину — да, плохо сделал. — Он поднял голову, посмотрел Кресту в глаза. — Дурак я, дядя Крест. Совсем дурак.

В камере снова повисла тишина. Узбеки перестали дышать совсем. Молодой хмырь с наколкой приоткрыл рот — так и сидел с открытым ртом, как рыба на берегу. Старый блатной отставил кружку окончательно, повернулся всем корпусом, положив руки на колени. Даже за стеной перестали петь — будто прислушивались.

Крест долго, очень долго смотрел на Фарика. Сверху вниз — в глаза. Потом снизу вверх — по лицу, по шее, по рукам. Оценивал. Как лошадь на ярмарке. Или как боевого пса — перед тем как взять в стаю.

Потом хмыкнул — негромко, одними ноздрями. И полез под матрац — нащупал там что-то, вытащил. Смятая пачка «Беломора» — папиросы толстые, вонючие, крепкие, как кузнечный мех. От пачки пахло махоркой и сыростью. Крест вытряхнул одну папиросу, сунул в зубы, прикурил от зажигалки «Зиппо» — настоящей, американской, с выгравированным орлом, не

китайской подделкой. Глубоко затаился, выпустил дым через нос — двумя струями, как дракон.

Потом протянул пачку Фариду.

— Закури, турок. Вижу — курить хочешь, а достать боишься. Правильно боишься — порядок есть порядок. Но я разрешаю. — Он похлопал по нарам рядом с собой, по серому колючему одеялу. — Садись. Не надрывай шею, стоять не обязательно. Садись, говорю. Слушать буду.

Фарик взял папиросу. Руки не дрожали — ни капли. Прикурил от зажигалки Креста — та самая «Зиппо», американская, с тёплым, жирным пламенем. Глубоко затаился. Горький, удушливый дым ударил в лёгкие — «Беломор» крепче «Астры» втрое. Но это был первый человеческий жест за долгое время, с того самого утра, когда его увели в наручниках. И он стоил того, что слёзы выступили на глазах и кашель подступил к горлу.

Он сел на нары — осторожно, на самый край. Не внаглую, не на всё место. Скромно. С уважением.

— Значит, так, пацан, — Крест говорил медленно, с расстановкой, как старый учитель, который в сотый раз диктует первоклашкам правила грамматики. — Слушай и запоминай. На зоне свои порядки. Не наши — соколиногорские, не дворовые, не техникумовские. Тут законы другие. Написанные не чернилами, а кровью. Понял?

— Понял, — кивнул Фарик.

— Порядок первый: за «петуха» — ответишь. Это значит — на мусоров не работай, не стучи, не фискаль. Иди на зону — забудь дорогу в оперскую часть. Сделал дело — гуляй смело, но без языка. Скажешь лишнее — сгноим. Сгноим так, что родная мать не узнает. У нас память долгая.

Фарик слушал, не перебивая.

— Порядок второй: за «козла» — тоже ответишь. Это значит — не подставляй своих. Если ты с кем-то в одной камере, в одной бригаде, на одном деле — вы одна семья. Чужих здесь нет. За своего — глотку перегрызут, но не сдадут. А ты сдашь — ты не человек. Ты хуже параша.

— Третий: будешь мусорам стучать — ты не жилец. Даже если по маляве попросят, даже если мать пришлют с передачей и она заплачет. Не жилец. Понял? Уходи в себя, молчи, терпи. Лучше срок получить лишний, чем честь потерять. Честь на зоне — это всё. Без чести ты быдло, которое никто не уважает.

— Четвёртый: будешь быковать, лезть на рожон, наводить тень на плетень — тоже не жилец. Быков здесь хватает и без тебя. Бык — он первым под нож идёт. Потому что от быка один шум, а толку — как от козла молока. Держись середины. Будь ровным. Без гонора, без сюсюканья. И главное — слово держи. Если пообещал — сделай. Если не можешь сделать — не обещай. Уважение на зоне — это когда за тобой, как за каменной стеной. А за пустозвонами — очередь из желающих морду набить.

— А пятый, — Крест выпустил дым в потолок, — пятый я тебе потом скажу. Потому что пятый надо заслужить. А пока усвой первые четыре. И не дай бог, если я узнаю, что ты их нарушил. Я тебя, Фархад, даже за решёткой достану. В Челябинск перевезут, в Магадан, в Соликамск — без разницы. У меня рука длинная. Ты понял меня?

— Понял, дядя Крест, — твёрдо ответил Фарик. — Сделаю. Слово даю.

— Слово... — Крест усмехнулся, но в усмешке не было злорадства. — Посмотрим, сколько в твоём слове весу. — Он затушил папиросу о подошву шлёпанца, бросил окурочек в парашу — с такого расстояния, что промахнуться было невозможно. — А теперь про тебя. Ты говоришь, сестра больна. Может, и правда. Может, не врешь. Но я проверю. У меня на воле есть люди. Связь есть. Телефон, если надо. Уважаемые люди. Они позвонят — спросят. Если обманул — пеняй на себя. Если нет — поможем, чем сможем. Лекарства там. Передачу

малой. Но с условием — больше не воруй. Совсем. Понял? Руки твои золотые — пусть делом занимаются. А не этим... дерьмом.

— Не обманул, — сказал Фарик, и в голосе его прозвучала та самая сила, которую Крест, видимо, и ждал. — Можете проверять, дядя Крест. Я правду сказал. Всю, как на духу.

— Посмотрим, — Крест откинулся на нары, положил руки под голову, закрыл глаза. — А теперь отдыхай, турок. Завтра разговор продолжим. Поздно уже, люди спать хотят. — Он помолчал секунду, потом добавил, не открывая глаз: — И не ссы. Здесь тебя никто не тронет. Я сказал — значит, сделано.

Он сказал это так спокойно, так обыденно, будто речь шла о погоде на завтра. Но в камере повеяло холодком — от одного этого тона. Узбеки на своём углу синхронно выдохнули, закивали, заулыбались. Молодой хмырь с наколкой закрыл рот и отвернулся к стене. Старый блатной в кепке поднял кружку, допил остывший чай и снова налил себе из ржавого чайника, стоявшего на тумбочке.

Фарик поднялся на верхние нары — тихо, чтобы не скрипеть, чтобы не мешать. Постелил под голову тощий вещевой мешок — единственное, что ему позволили взять с собой: смену белья, мыло, зубную щётку, пару тетрадок и ручку. Лёг на спину, заложил руки за голову.

Смотрел в потолок — грязный, с трещинами, напоминавшими карту неизведанной страны. В одной трещине он увидел очертания Каспийского моря — там, в Казахстане, жили мамыны сёстры. В другой — извилистую линию Крымского моста, по которому они с Настей гуляли прошлой осенью. В третьей — смешную рожицу, похожую на Черепа с его вечно прищуренными глазами.

Слушал дыхание камеры. Кто-то тихо матерился во сне — сквозь зубы, отрывисто, как пулёмётная очередь. Кто-то всхлипывал — должно быть, тот самый молодой узбек, который боялся темноты и не спал вторую ночь. Кто-то читал молитву шёпотом — старый блатной, перед сном, наверное, по привычке, оставшейся с детства, которое прошло где-то в тамбовской глубинке. Кто-то сухо, по-стариковски кашлял — надсадно, с хрипом, как будто хотел выкашлять лёгкие.

За стеной, в соседней камере, кто-то пел блатным фальцетом — сиплым, срывающимся на высоких нотах. Пел «Таганку»:

«Таганка, все ночи полны огнём!

Таганка, зачем ты сожгла мой дом?

Таганка, я всё равно тебя люблю,

Таганка, я всё равно к тебе приду»

Фарик закрыл глаза. И перед внутренним взором возникло лицо Насти — с веснушками на носу, которые она так стеснялась, с серыми добрыми глазами, которые смотрели на него с такой верой, с такой надеждой, что становилось легче дышать даже в этом спёртом, прокуренном, пропахшем хлоркой и горем воздухе.

Она улыбалась ему. Сквозь слёзы. Такой же улыбкой, какой улыбалась, когда он впервые пришёл к ней в техникум с букетом ромашек — сорванных в поле за МКАДом, потому что на покупные не было денег.

«Прокачу тебя, Настюха. Обязательно прокачу. На мотоцикле. Красном. «Иж Планета-Спорт». По Ярославскому шоссе. Ветер будет дуть в лицо, выжимать слёзы. Ты будешь смеяться и прижиматься щекой к моей спине. Обещаю. Я обещаю».

Засыпая, Фарик слышал сквозь дремоту, как Крест — внизу, под ним, на нижних нарах, — хриплым, прокуренным голосом сказал кому-то (может, старому блатному, может, самому себе):

— Пацан правильный. Не сыт. Не суетится. Глаза не бегают, руки не дрожат. Из таких толк выходит. Посмотрим, что дальше будет.

Фарик улыбнулся во сне — первый раз за этот длинный, длинный день.

И провалился в темноту. Без снов. Потому что даже снам было страшно врываться в эту камеру, под эти решётки, в этот запах, где человеческое отчаяние смешалось с хлоркой в одну густую, липкую массу, которая называлась «срок».

Глава 6: Череп сдаётся

В соседней камере Череп сидел на табурете, сгорбившись, и смотрел в пол.

Его взяли за час до Фарика. Вломились в коммуналку, когда он дрых без задних ног после очередного загула, выволокли в трусах и майке под ржавый хохот соседей. Мать плакала — стояла в дверях, держалась за косяк, вытирала слёзы грязным платком. Сестры ревели, цеплялись за Черепа, но менты их отпихнули.

Череп молчал. Молчал, когда везли в отделение, молчал, когда толкали в кабинет, молчал, когда лейтенант начал орать. Теперь он сидел в камере и смотрел в пол. Ему было страшно. Так страшно, что хотелось провалиться сквозь этот казённый линолеум, сквозь бетон перекрытий, сквозь глину и грунтовые воды, прямо в самое ядро земли. И стыдно. До тошноты стыдно.

Потому что он уже всё рассказал.

Когда на него наехали по-настоящему, когда пообещали посадить мать и сестёр, если не заговорит, когда лейтенант ударил — первый раз, не сильно, но ощутимо, — Череп сломался. Признался, что это они с Фархадом вдвоём угнали «Волгу», что Фархад всё придумал, а он, Череп, помогал — толкал, страховал, был за рулём. Рассказал про Вахтанга, про разборку, про то, как делили деньги. Всё, до последней копейки, до последнего слова.

Теперь сидел и слушал сквозь стену глухой ровный голос Фарика. Не слова, а так — интонацию. Спокойную, твёрдую. Фарик там, в кабинете, говорил что-то ментам. И Череп вдруг понял: Фарик его не сдаёт. Фарик всё берёт на себя.

В дверь лязгнули.

— Выходи, Черепанов. На очную ставку.

Глава 7: Очная ставка

Комната маленькая, прокуренная. Стол, два стула друг напротив друга. Следователь в торце, лейтенант у двери. На столе — протокол, авторучка, чернильница.

Ввели Черепа. Он вошёл — мятый, с синяком под глазом, с опухшей губой, в казённых штанах и майке. Увидел Фарика — и отвел глаза. Не мог смотреть. Стыдно было до боли в груди, до рези в горле.

Фарик сидел спокойно, смотрел на Черепа без злости, без упрёка. Только с какой-то тихой грустью — как на младшего брата, который набедокурил и теперь боится признаться.

— Ну что, голуби, — капитан постучал ручкой по столу. — Давайте по новой. Черепанов, вы подтверждаете свои показания, что угон совершали совместно с Шеиловым?

Череп молчал. Смотрел в пол. Руки тряслись.

— Черепанов, я к вам обращаюсь! — капитан повысил голос, стукнул кулаком по столу так, что графин подпрыгнул.

— Серега, — тихо сказал Фарик. — Ты ничего не делал. Ты просто пиво пил. Помнишь? Сидел во дворе, пиво пил, а я мимо проходил. И всё. Ничего ты не знаешь. Никуда не ездил. Не помнишь ты ничего.

Череп поднял глаза. В них стояли слезы. Губы дрожали.

— Черепанов, не слушайте его! — капитан стукнул снова. — Давайте показания, как договаривались. Или сейчас же отправим вашу маму в следственный изолятор как соучастницу! У неё же сердце больное, да?

Череп слотнул. Посмотрел на Фарика — тот чуть заметно кивнул. Как в тот раз, во дворе, когда они договаривались об угоне. Один кивок — и всё понятно.

И вдруг Череп выпрямился. Расправил плечи. Сжал кулаки.

— Я отказываюсь от своих показаний, — сказал он, глядя прямо на капитана. Голос дрожал, но слова были твердые, рубленые. — Меня били. Заставляли наговаривать на Фархада. Ничего я не знаю, никуда не ездил, никого не видел. Я в тот вечер дома сидел, телик смотрел. Всё.

Лейтенант рванул с места, вцепился Черепу в плечо:

— Ты че, падла, сучишь? Мы тебе покажем — били! Давай протокол подпишешь сейчас всё, что сказал! А не подпишешь — посадим всю твою семейку, понял?

— Не подпишу, — Череп мотнул головой, хотя голос его сорвался на фальцет. — Хоть убейте — не подпишу. Моя мать не виновата. Я один всё сделал. Нет, не один! Ничего я не делал! Я ни при чём!

Капитан взбесился окончательно. Орал, топал ногами, грозил новой статьёй — за дачу ложных показаний, за клевету на органы, за укрывательство преступления. Череп стоял на своём. Молчал и мотал головой. Плечи у него ходили ходуном, но он не сдавался.

Фарик смотрел на него и улыбался — чуть заметно, уголками губ.

— Уведите обоих, — устало махнул рукой капитан после получаса бесполезных криков. — Черепанова пока в камеру. Фархадова — на допрос.

Когда их выводили, Череп на секунду обернулся. Фарик кивнул ему. И Череп понял: всё правильно. Всё так, как надо. Друг друга не сдают.

Глава 8: Следствие

Две недели тянулось следствие.

Черепу держали в камере, но больше не били — видно, побоялись, что снова откажется от показаний. Он сидел тихо, не высовывался, на допросах твердил одно: «Не знаю, не был, не видел. Меня заставили подписать, я под давлением дал показания. Прошу считать их недействительными».

Вахтанга приводили на опознание. Тот сначала уверенно тыкал пальцем в обоих — мол, они, точно они, приезжали ночью, на чёрной «Волге», я их запомнил. А потом, глядя на спокойное лицо Фарика и затравленный взгляд Черепу, вдруг засомневался.

— Темно было, — сказал Вахтанг, отводя глаза. — Мог и обознаться. Вроде один был. Высокий такой, кучерявый. А второй может, и был, а может, и нет. Не помню точно. И вообще, я человек пожилой, память уже не та.

В те годы свидетели часто «теряли память», если им правильно намекнуть. А Вахтангу намекнули — не Фарик с Черепом, а свои, с разборки. Тем, кто держал подпольный бизнес в Люблино, совсем не улыбалось, чтобы менты к ним в гости зачастили. Лучше один раз заплатить, чем потом месяц прятать товар. Вахтанг понял намёк, кивнул, и память ему отшибло начисто.

Дело начало разваливаться. Череп молчал как рыба об лёд. Вахтанг «ничего не помнил». Улик против двоих, кроме слов Вахтанга, не было. А Вахтанг теперь говорил, что, может, и один был. Но Фарик уже дал признательные показания. Машину нашли (вернее, то, что от неё осталось — груда металлолома на разборке, которую не успели переработать). Ущерб был доказан. Кого-то сажать было надо.

Следователь скрипел зубами, плевался от злости, но делать нечего. Переписали обвинение: не группа лиц, а одиночка. Черепу выпустили под подписку о невыезде — формально, до суда он проходил как свидетель. Перед выходом его вызвали к следователю.

— Скажи спасибо своему дружку, — сказал следователь, брезгливо глядя на Черепу, который стоял перед ним в мятой одежде, с впалыми щеками. — Он за тебя срок потянет. А ты иди, живи. Только запомни: если хоть слово кому — мы тебя достанем из-под земли. И маму твою посадим, и сестёр. Понял?

Череп кивнул. Вышел на свободу. Вечером того же дня напился в подворотне до чёртиков, блевал за гаражами, плакал и кричал в пустоту: «Фарик, прости меня, дурака! Прости!» Но никто его не слышал, кроме бродячих собак, которые брели к мусорным бакам.

А Фарик остался в СИЗО. Ждать суда.

Глава 9: Приговор

Двадцатое июня 1991 года. Московский городской суд, зал 317Зал суда встретил Фарика запахом старой мебели и казённого равнодушия. Высокий, под три метра потолок с облупившейся лепниной — когда-то здесь были ангелочки и гирлянды, а теперь остались только безликие завитушки, покрытые слоем жёлтой краски, которая пузырилась и отходила хлопьями. Тяжёлые дубовые скамьи, тёмные, отполированные сотнями задниц за сотни заседаний, стояли в три ряда. Дерево было холодным на ощупь, с трещинами и сучками, местами замазано шпаклёвкой другого цвета. Ряды почти пустовали. Скамьи для зрителей заполнились меньше чем наполовину — только самые близкие, те, кому некуда было деваться, кто не мог не прийти. Родственники подсудимого: мать, отец, Лейла. Пара журналистов из местной газеты «Вечерние Текстильщики» — парень с блокнотом, который писал быстро, стенографически, и лысеющий фотограф с тяжёлым «Зенитом» на кожаном ремне, щёлкавший Фарика в профиль и анфас, словно тот был экспонатом. Двое понятых в выцветших синих халатах — их привели для порядка, они сидели на последней скамье, зевали и поглядывали на часы. В первом ряду, сразу за ограждением, на котором висела табличка «Для публики», сидели свои. Эльмира Каримовна — маленькая, худая, в единственном приличном платье, тёмно-синем, с длинными рукавами, которое она берегла для особых случаев. Платье было старое, ещё из «Берёзки», купленное когда-то на сбережения — в нём она ходила на свадьбу к племяннице в В Казахстане и на похороны матери. Голова покрыта линялым платком в горошек, из-под которого выбивались седые пряди. Руки, узловатые, с вздутыми венами, лежали на коленях, сцепив пальцы в замок. Она не плакала. Сидела с прямой спиной, с каменным лицом, и только губы её шевелились — она читала молитву, ту самую, которой учила её мать, а мать — свою мать, на арабском, которой она почти не понимала, но в котором была сила. Рядом с матерью — Лейла. Тринадцатилетняя девочка, которая за месяц, прошедших с ареста брата, превратилась из ребёнка в почти взрослую женщину. Она надела ту самую новую форму, которую Фарик купил ей на украденные деньги — коричневое платье, белый фартук, белые банты. Может быть, хотела показать брату, что он старался не зря. Может быть, просто не было другой одежды, хотя новое платье ещё одно было, но она решила пойти в школьной форме. Лейла не плакала — она сжалась в комок, обхватив себя руками, и тихо, беззвучно вздрагивала. Изредка она проводила ладонью по щеке, смахивая слезу, но делала это быстро, будто стыдясь. Сабир Алиевич, отец, сидел с краю, положив свои большие, мозолистые руки на колени. Он сильно похудел за этот месяц — работы нет, сын в СИЗО, от переживаний и бессонных ночей — сделали своё дело. Лицо его было серым, щёки запали, под глазами залегли глубокие тени. Он смотрел прямо перед собой, на закрытую дверь, из-за которой должны были привести сына. В его взгляде не было злости или отчаяния — была какая-то тяжёлая, каменная усталость. Правая рука его лежала на колене, левая — сжимала край скамьи так сильно, что костяшки побелели. Сабрину не взяли. Мать побоялась — у девочки мог начаться приступ от нервов, кашель задушил бы её прямо в зале суда. Сабрина осталась дома с соседкой, тётей Машей, которая обещала покормить, напоить чаем и включить мультики по телевизору. Перед уходом мать долго гладила её по голове и говорила: «Всё будет хорошо, доченька. Скоро твой брат вернётся». Они обе знали, что это неправда. В третьем ряду, у самого прохода, почти на выходе, сидела Настя. Та самая, любимая, единственная. Она надела новое платье — то самое, с цветочками, импортное, которое Фарик купил ей на те самые деньги. Платье было лёгким, летним, с короткими рукавами и широкой юбкой — такое надевают на свидания, на прогулки, на танцы. Но Настя в нём выглядела так, будто на похороны нарядилась. Лицо её было бледным, с красными пятнами на щеках — след от долгих, бессонных слёз. Глаза опухли, веки набрякли. Она сидела, прижимая к груди сумочку — дешёвую, китайскую, кожзам, — и смотрела на дверь, не отрываясь. — Встать, суд

идёт! — объявил судебный пристав — пожилой мужчина в форме, с обвисшими усами и медалью на лацкане, которая звенела при каждом шаге. Все в зале поднялись. Заскрипели скамьи, зашуршали одежды. Вошла судья — женщина лет пятидесяти, с усталым лицом, глубокими морщинами у губ и очками в толстой золотой оправе, которые сползали на кончик носа. Ольга Васильевна Ковалёва — её имя было написано на табличке на столе. Седая, коротко стриженная, в тёмной мантии с гербом СССР на груди. Она прошла к своему креслу, тяжело опустилась, поправила очки и взяла в руки папку с надписью «Уголовное дело 147/91». — Садитесь, — сказала она, не поднимая глаз. Зашуршали скамьи снова. Фарика ввели через боковую дверь. Конвойные — двое здоровенных парней в серых шинелях, с автоматами Калашникова на груди — взяли его под локти и повели к скамье подсудимых. Она стояла сбоку, отдельно от всех, в деревянном ящике с решёткой. Не настоящая клетка, но что-то вроде — решётка до пояса, деревянная перегородка, за которой нельзя сидеть нормально, только стоять, опершись на поручни. Фарик был в казённой робе — мешковатой, серой, с номером на спине и на груди, выведенным чёрной краской через трафарет. Номер был «104», нерусский, чужой. Роба колола шею, была велика в плечах и мала в поясе. На ногах — казённые ботинки, тяжёлые, с толстой подошвой, такие дают, чтобы не убежал. Он поднял глаза и обвёл зал взглядом. Увидел мать — каменную, неподвижную. Увидел отца — сжатые кулаки, серое лицо. Увидел Лейлу — белые банты, мокрые глаза. Увидел Настю — в новом платье, с лицом, по которому текли слёзы. И отвел взгляд. Не мог смотреть. Потому что знал, что если посмотрит в глаза матери дольше двух секунд — разревётся, как девчонка, а этого нельзя. В СИЗО его научили: слёзы — это слабость. Слабость — это смерть. — Слушается дело по обвинению Шеибова Фархада Сабиновича в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 89 Уголовного кодекса РСФСР, — объявила судья тем самым ровным, безразличным голосом, которым буднично зачитывают списки продуктов или сводки погоды. Без эмоций. Без жалости. Без намёка на то, что здесь, в этом зале, сейчас будет сломана чья-то жизнь. — Слово для оглашения приговора предоставляется судье Ковалёвой Ольге Васильевне. Она открыла папку, надела очки, поправила их — сползли снова. И начала читать. — Признать Шеибова Фархада Сабиновича, 1973 года рождения, уроженца города Москвы, гражданина Союза Советских Социалистических Республик, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 89 Уголовного кодекса РСФСР — «хищение государственного имущества в крупных размерах». Она сделала паузу, перевернула страницу. В зале было тихо — так тихо, что слышно было, как муха бьётся о стекло высокого, зарешеченного окна. — Стоимость похищенного, согласно заключению экспертизы 045/91 от 2 июня 1991 года, с учётом износа транспортного средства и рыночных цен на момент совершения преступления, составляет четырнадцать тысяч двести рублей, — продолжала судья. — Автомобиль ГАЗ-31029, чёрный, 1989 года выпуска, государственный номер МОС 37-42, принадлежащий автобазе 3 имени Лихачёва, обнаружен на территории гаражного кооператива «Нефтяник» в Люблино в разукомплектованном состоянии, с демонтированными узлами и агрегатами, большая часть которых признана экспертами непригодной к дальнейшей эксплуатации. Восстановлению автомобиль не подлежит. Фарик слушал, и каждое слово падало на него, как камень. Он смотрел на судью, на её очки в золотой оправе, на её белые, аккуратно уложенные волосы, и думал: «Откуда в ней столько равнодушия? Неужели за двадцать лет работы она так и не привыкла, что за каждым делом — человек? Или привыкла — наоборот, привыкла, и поэтому ей всё равно?» — Несмотря на отрицание подсудимым факта соучастия, — судья перевернула ещё одну страницу, — и наличие первоначальных показаний свидетеля Гасаняна В. Р., указывавших на возможную причастность иных лиц к совершению преступления, следствие не располагает достаточными и неопровержимыми доказательствами группового сговора. В связи с изменением свидетелем Гасаняном показаний в ходе дальнейшего следствия, а также отсутствием иных подтверждающих улик — свидетельских показаний третьих лиц, вещественных доказательств — суд квалифицирует деяние как совершённое

одним лицом. Фарик перевёл взгляд на Черепа. Тот сидел на скамье для свидетелей, сбоку, поджавшись, как побитая собака. Лицо у него было жёлтое, нездоровое, под глазами — синяки, на скуле — свежий, незаживший кровоподтёк. Руки он держал на коленях, но они дрожали — мелкой, противной дрожью. Череп смотрел на судью, но видел, наверное, что-то своё — может быть, ту ночь, когда они катили «Волгу» по асфальту автобазы, может быть, те деньги, которые он пропил, может быть, мать и сестёр, оставшихся в коммуналке. Он держался. Молчал. Не сдал. И за это Фарик был ему благодарен больше, чем за что-либо в жизни. — Принимая во внимание дерзость преступления, его направленность против государственной собственности, значительный размер причинённого ущерба, а также то обстоятельство, что похищенное имущество было разукomплектовано, частично уничтожено и приведено в полную негодность к использованию по назначению, что подтверждается актом технической экспертизы 147/91 от 5 июня 1991 года, — судья подняла глаза от бумаги и посмотрела на Фарика поверх очков. Глаза у неё были серые, усталые, без блеска. — Суд не находит оснований для применения статей 34 и 35 Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающих условное осуждение и отсрочку исполнения приговора. Ходатайство защиты о смягчении наказания оставить без удовлетворения. По залу прошёлся шёпот. Мать Фарика замерла, перестала дышать. Лейла вцепилась в её руку, и её пальцы побелели. Настя закрыла лицо ладонями — плечи её затряслись. — Руководствуясь принципами социалистической законности, неотвратимости наказания и воспитательной меры воздействия, — судья читала уже механически, как заученное, — а также принимая во внимание, что подсудимый ранее не судим, в содеянном раскаялся, дал признательные показания на начальном этапе следствия, активно способствовал раскрытию преступления, что смягчает его вину, однако не может служить основанием для изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы ввиду тяжести совершённого деяния и наступивших последствий Судья замолчала. Перевернула последнюю страницу. Сняла очки, положила их на стол, рядом с папкой. Поправила мантию. — Суд постановляет: назначить Шеинову Фархаду Сабировичу наказание в виде лишения свободы сроком на ДЕСЯТЬ ЛЕТ с отбыванием в исправительно-трудовой колонии строгого режима. В зале ахнули. Бабки на последнем ряду — те самые две, которые пришли поглазеть на «преступника», — зашептались громко, не стесняясь. — Господи, десять лет — говорила одна, та, что помоложе, в цветастом платке. — За тачку-то. Первый раз ведь парень оступился, молодой совсем. Неужто нельзя было помягче, условно? Других вон за убийство меньше дают — А нефиг воровать! — отрезала вторая, с острым носом и злыми глазками-буравчиками. — Знай наших! Поделом вору и мука! Надо было думать, когда государственное добро тырил. Советскую власть захотел обворовать? Вот тебе и получи! Журналист в блокнотом строчил, как пулемёт — ровные строчки покрывали страницу за страницей, уши его горели от возбуждения. Фотограф поднял «Зенит», навёл резкость — щёлк. Фарик в профиль. Щёлк — анфас. Щёлк — мать, прижимающая руку к сердцу. — Срок наказания исчислять с момента фактического задержания — с 22 мая 1991 года. Мету пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. — Судья закрыла папку. — Приговор может быть обжалован в Мосгорсуде в течение десяти суток со дня оглашения. — Десять лет строгого режима, — повторил адвокат, сидевший рядом с Фариком на скамье защиты — пожилой, в потрёпанном костюме, с портфелем, который он не выпускал из рук. Он повернулся к Фарику, шепнул: — Будем обжаловать, Фархад. Это слишком много. Судья явно перегнула. Надо писать кассацию. Фарик не ответил. Он смотрел в зал. На мать. Эльмира Каримовна сидела с прямой спиной, сцепив пальцы на коленях. Она не плакала. Только когда конвой взял Фарика под локти, чтобы увести, она коротко выдохнула — так выдыхают, когда ударяют под дых, когда не хватает воздуха — и перекрестила вслед. Перекрестила. Хотя они были мусульмане. Хотя они никогда не крестились — ни она, ни её мать, ни бабушка. В доме не было икон, они не отмечали Пасху, не ходили в церковь. Но сейчас, в эту секунду, она перекрестила сына — широко, размашисто, по-старообрядчески,

как учила её когда-то соседка, бабка Дуня, с которой они жили в коммуналке ещё в молодости, в Казахстане. Правой рукой, сложив пальцы щепотью, прижав к груди, ко лбу, к правому плечу, к левому. Маленькая, в линялом платке, с глазами, полными такой боли, что на неё страшно было смотреть, она казалась сейчас не женщиной, а памятником — памятником всем матерям, чьи дети уходили в тюрьму, на войну, в никуда. Памятником из слёз и молчания. Рядом с ней Лейла рыдала — не скрываясь, не зажимая рот. Она плакала громко, навзрыд, уткнувшись лицом в мамино плечо. Белые банты на её голове дрожали, туфельки стучали каблуками об пол. Отец не двигался. Он сидел, сжав кулаки, и смотрел на сына — в последний раз перед долгой разлукой. В его взгляде было что-то такое, отчего у Фарика сжалось сердце. Не злость. Не отчаяние. А что-то другое, более страшное — стыд. Не за себя, за сына. За то, что не уберёт, не наставил, не остановил вовремя. — Пап, — тихо сказал Фарик, но отец его не услышал — или услышал, но не подал виду. Конвой дёрнул его за рукав. Фарик сделал шаг к выходу, но замер — услышал: — Федя! Настя. Она встала с места, прижимая к груди сумочку, и смотрела на него — вся мокрая от слёз, с размазанной тушью, с дрожащими губами. Она не кричала, не рыдала, как Лейла. Она стояла и смотрела, и губы её шевелились. — Я буду ждать, Федя, — прошептала она. Но в тишине зала, где все замерли, услышали все. — Десять лет — не срок. Я дождусь. Я обещаю. Фарик кивнул ей. Чуть заметно, одними глазами, но она увидела. Увидела и улыбнулась сквозь слёзы — криво, жалко, но искренне, так, как улыбаются только те, кто любит по-настоящему, не за что-то, а вопреки всему. — Шевелись! — рявкнул конвойный, дёрнув сильнее. Фарик повернулся и пошёл к выходу. Он не оглядывался — нельзя было. Слышал за спиной всхлипы, шёпот, скрип скамей, которые покидали зрители. Слышал, как адвокат что-то говорит матери: «Мы обязательно обжалуем, Эльмира Каримовна, не плачьте, это слишком сурово». Слышал, как отец глухо, невнятно выругался — впервые в жизни при людях, матом, злым, горьким. Дверь захлопнулась за его спиной. Засов лязгнул — железо о железо, металл о металл. Конвой повёл его по длинному коридору — серому, плохо освещённому, с лампочками дневного света, которые гудели и мигали. На стенах — плакаты: «Честность — лучшая политика», «Соблюдай социалистическую законность», портрет Ленина с поднятой рукой. Полы кафельные, скользкие, с грязными разводами от тысячи сапог. В конце коридора ждал автозак — тот самый серый «уазик» с решётками. Фарика втокнули внутрь, пристегнули наручниками к поручню. Машина тронулась, подпрыгнула на первой же кочке. Он закрыл глаза. И увидел Настю — в новом платье, с мокрыми щеками, с улыбкой, которая стоила десяти лет. — Десять лет — не срок, — повторил он шёпотом. — Я выйду. Я обещаю. Автозак выехал на шоссе Энтузиастов и взял курс на восток — в сторону Владимирского централа, откуда этапировуют в зоны. Фарик смотрел на московские улицы, которые уплывали за мутным стеклом, и думал о том, что его жизнь разделилась на «до» и «после». «До» — это запах бензина, улыбка Насти, кашель Сабрины, пирог с капустой на день рождения, двор на Соколиной Горе, «Белые розы» из открытого окна, споры с Черепом о жизни, отцовская «Волга», мамины руки. «После» — это серый цвет, запах хлорки, решётки, железные нары, конвой, чужие лица, срока, которые отсчитывают не годами, а днями. Впереди было десять лет — целая жизнь. А сзади осталась другая жизнь — та, которую он сам разрушил в одну ночь, когда решил, что цель оправдывает средства. Фарик прижался лбом к холодному стеклу и закрыл глаза. Машина увозила его в неизвестность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.